

*СТАТЬИ И ИССЛЕДОВАНИЯ*

В. П. АДРИАНОВА - ПЕРЕТЦ

**Историческая литература XI—начала XV в.  
и народная поэзия**

1

Буржуазное литературоведение и фольклористика отрицали важное значение связей с народной поэзией в процессе зарождения и развития древне-русской литературы. Даже то немногое, что в ней определялось как идущее из народного творчества, объяснялось лишь прямым „влиянием“ на литературу конкретных образцов устной поэзии. Проблема родства идей некоторых литературных памятников с идеями устной народной поэзии и обусловленности этим родством общности художественного метода писателя и народного поэта даже не ставилась.

Исследование литературно-фольклорных отношений древней Руси далеко не закончено и советскими литературоведами. Потому-то в 1938 г. Ю. М. Соколов в своем обзоре памятников русской народной поэзии рассматривает отношение фольклора к средневековой литературе лишь в плане „влияния“, притом только на „художественную форму“.

Понятие „народность древне-русской литературы“ определялось всем ходом исторического развития и на каждом этапе истории феодального строя имело свои характерные признаки. В это понятие прежде всего входило умение писателя уловить то новое в исторической действительности, что отвечало интересам трудового народа, и выразить это новое в художественной форме, стремящейся к реалистическому изображению, выразить средствами литературного языка, свободного от элементов, чуждых строю общенародного языка. Своеобразие самого понятия „народность“ в русской литературе феодального периода, отличающее его от объема этого понятия в новое время, заключалось в ограниченности его содержания: воспитывая активную любовь к Родине и сознание необходимости защищать свободу и независимость государства, а следовательно и трудового народа от внешних врагов, даже передовые писатели древней Руси не могли

сколько-нибудь полно отразить основное противоречие феодального строя — классовый антагонизм между трудовым народом и феодалами-собственниками. Критика в литературе отдельных сторон феодально-крепостнического строя была лишь слабым отголоском стихийного протеста самого народа, протеста не раз принимавшего форму вооруженного восстания. Вопрос об освобождении трудящихся от феодально-крепостнического гнета литературой еще не ставился.

Но писатели, мировоззрение которых соответствовало хотя бы такому ограниченному содержанию понятия „народность“, знали жившую и развивавшуюся непрерывно рядом с книжной литературой устную поэзию трудового народа. В этой поэзии, несмотря на исторически закономерную для феодального периода ограниченность классового сознания трудящихся, выражалась оценка народом исторических лиц и событий, его трудовой опыт и мечта о лучшей жизни. Чем глубже проникал писатель в противоречия жизни, чем больше внимания уделял он тяжелому положению угнетенного народа, тем ближе ему становилось поэтическое творчество трудящихся, тем закономернее литературные оценки совпадали с „народным мнением об истории“ (М. Горький).

Так создавалась почва для того, чтобы в художественной системе древне-русского писателя обнаруживалось развитие основ, идущих от поэзии народа. В таких случаях усваивались и элементы художественной формы народной поэзии. Однако внешнее усвоение устно-поэтической фразеологии не делало памятник „народным“. Для установления закономерностей литературно-фольклорных отношений в XV—XVII вв. особенно важно выяснение характера всех связей каждого отдельного литературного памятника с народной поэзией.

„Анализ образов и художественной формы «Слова о полку Игореве», некоторых летописных отрывков, повестей и других произведений древней письменности показывает влияние на нее устной народной поэзии“.<sup>1</sup> Таким образом, в этой итоговой работе даже и не ставится вопрос об отражении в древне-русской литературе идейной сущности народно-поэтических откликов на события исторической действительности, о родстве художественного метода лучших писателей русского средневековья и народных поэтов.

В изданных коллективом научных сотрудников Пушкинского Дома Академии Наук СССР первых двух томах „Истории русской литературы“ (тт. I—II, 1941—1948) неоднократно указывается на значительность роли фольклора в процессе создания и дальнейшего развития древне-русской литературы. Преимущественное внимание уделяется здесь выяснению связей с фольклором разных видов исторического повествования. „Поставив в самый момент своего возникновения в центре внимания историческую тему, русская литература в способе ее выра-

<sup>1</sup> Ю. М. Соколов. Русский фольклор. М., 1938, стр. 36.

жения пошла по пути, проложенному народными формами словесного творчества. Литературный эпос XI в. продолжил традиции устных эпических и лирических жанров. Героический эпос — прототип сохранившихся до наших дней былин-старин, устные прозаические предания об исторических лицах и событиях, легенды, связанные с памятными местами, — передавали книжному историческому повествованию не только исторические факты и украшавшую их фантастику, но и некоторые черты своего художественного стиля (песенный образ князя-воина, пословичность языка, юмор, отчасти диалогическая речь и т. д.)<sup>1</sup>. Устное предание, сказка, песня „расцвечивали новыми подробностями реальный факт или вводили в книгу народную оценку героя и его поведения“. „Связь исторической литературы с устным эпосом не прерывалась в течение всего средневековья, но особенно она крепла и проявлялась в моменты наибольшего подъема национального самосознания или в связи с демократическими тенденциями отдельных авторов“<sup>1</sup>. „Близости к фольклору обязана русская литература своими лучшими художественными ценностями, созданными ею на протяжении всей ее истории, начиная с преданий Начальной летописи, героических рассказов о борьбе Русской земли за свою независимость и величайшего памятника мировой поэзии Слова о полку Игореве. Лучшее, что сохранилось нам от литературного творчества русского средневековья, — исторические повести, автобиография протопопа Аввакума, поэтическая песня-повесть о «Горе-злочастии», — так же органически вышло из живого источника народной поэзии, как неотделим от него Пушкин“<sup>2</sup>.

Значительно, как видим, расширив выводы о роли фольклора в процессе становления и дальнейшего развития древне-русской литературы, и этот итоговый обзор не придал должной глубины как постановке самой проблемы соотношения литературы и фольклора в древней Руси, так и конкретной разработке этой проблемы. В большинстве случаев авторы статей об отдельных памятниках дают лишь перечень примеров прямого соприкосновения литературы и устной поэзии, не касаясь вопросов сравнительного изучения их мировоззрения и художественного метода.<sup>3</sup>

В исследованиях, посвященных изучению фольклорных источников отдельных литературных памятников древней Руси, эти вопросы мировоззрения и художественного метода ставятся советскими литературоведами шире, однако проблема в целом еще далека от разрешения. Внимание исследователей привлекали по преимуществу разнообразные случаи непосредственного отражения устнопоэтических произ-

<sup>1</sup> История русской литературы, т. II, ч. 2. М.—Л., 1948, стр. 431.

<sup>2</sup> История русской литературы, т. I, М.—Л., 1941, стр. 216.

<sup>3</sup> На этот недостаток тт. I—II „Истории русской литературы“ указала рецензия в газете „Культура и жизнь“ 10 X 1948.

ведений в повествовательной и сатирической литературе, в летописании и в местных легендах.

Дореволюционное и советское литературоведение накопили довольно много фактов, свидетельствующих о прямых отражениях устнопоэтических сюжетов или мотивов в памятниках древне-русской литературы. Однако многие из этих фактов еще не до конца исследованы. Уточнения в ряде случаев требует прежде всего самый материал, подлежащий сопоставлению: рукописный текст литературного памятника и его предполагаемый фольклорный источник. На основе детально разработанной истории текста литературного произведения необходимо точно установить, в какой момент своей жизни оно подверглось воздействию фольклора, — при возникновении или в одной из позднейших редакций, другими словами, в какой исторической обстановке, в силу каких причин произошло сближение устной и письменной литературы, какова связь этого сближения с классовой направленностью всего литературного произведения в целом.

Функция фольклорных эпизодов у каждого писателя органически вытекает из всего круга его представлений — классовых и выросших на их почве морально-философских и эстетических. При определении этой функции необходимо, однако, со всей ясностью представить и классовую сущность тех устнопоэтических источников, на которых построены данные эпизоды. Так исследователь приходит к сопоставлению мировоззрения писателя и народного поэта.

Хотя ведущая линия развития устной поэзии, созданной в средние века трудовым народом, выражала прогрессивные стороны его мировоззрения, тем не менее, нельзя не учитывать ограниченности этого мировоззрения в условиях феодально-крепостнического строя и отражения этой ограниченности в поэтическом творчестве народа. Яркие религиозные сюжеты группы легенд и стихов, уводившие от реальной действительности, пережитки дохристианских суеверий, пессимистические настроения использовались в литературе. Сближение с таким, реакционным в самом своем существе, хотя и фольклорным материалом не может расцениваться как явление прогрессивное в развитии книжной литературы.

Задача исследователя заключается в том, чтобы в каждом отдельном случае определить идейный смысл того устного источника, которым воспользовался писатель.

Стилистические сопоставления литературы с фольклором, даже при явном сходстве сравниваемых элементов, не всегда могут привести к заключению о прямой связи писателя с поэтикой устного творчества, т. е. о том, что примененный писателем прием был предварительно отработан в практике народных поэтов.

В ряде исследований наблюдается склонность расценивать каждый свойственный народному языку образ литературного памятника как отражение устной поэтики, т. е., другими словами, подразумевается, что всякое

образное выражение в литературе, напоминающее хотя бы и поздний фольклор, пришло к писателю после того как оно оформилось в том или ином устном жанре. При такой постановке вопроса упускается из виду, что у писателя и народного поэта была общая почва, на которой оба творили, общий запас художественных средств, который служил тому и другому для воплощения своего замысла. Этой общей почвой был живой русский язык, который в условиях феодального общества, „как средство общения людей в обществе, был общим и единым для общества, равно обслуживающим членов общества независимо от социального положения“.<sup>1</sup> Этот единый и общий язык, который „превалировал“ над диалектами и „их подчинял себе“,<sup>2</sup> своим основным словарным фондом<sup>3</sup> питал и писателей древней Руси и народных поэтов. В определенном отборе и каждый со своими целями они использовали средства этого основного словарного фонда, в соединении с изменяющимся словарным составом языка.

Общепонятный язык XI—XII вв., когда формировалась русская литература, заключал уже в себе большие художественные возможности и применялся нашими древнейшими писателями с подлинным поэтическим мастерством.

Идейное своеобразие фольклора должно быть на первом плане при изучении роли устной поэзии в истории развития древне-русской литературы.

Выясняя роль фольклора в развитии литературы, М. Горький обращал внимание писателей на то, что „родоначальница книжной литературы“<sup>4</sup> — устная поэзия трудового народа создала „наиболее глубокие и яркие, художественно совершенные типы героев“.<sup>5</sup>

О фольклоре как отражении „трудового опыта бесчисленных поколений“, о теснейшей связи фольклорных типов с реальной действительностью и с мечтами народа о ее преобразовании, об идейном своеобразии отношения устной поэзии к историческим лицам и событиям писал неоднократно М. Горький. В народной поэзии, по его словам, „заложено неисчерпаемо много прекрасной, хотя в большинстве уже устаревшей мудрости. . . сжат трудовой опыт бесчисленных поколений“.<sup>6</sup> О сказке, как о воплощении мечты народа о „лучшей жизни“, писал М. Горький, вспоминая свое детство: „сказки открывали предомной просвет в другую жизнь, где существовала и, мечтая о лучшей жизни, действовала какая-то свободная, бесстрашная сила“.<sup>7</sup>

<sup>1</sup> И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 12.

<sup>2</sup> Там же, стр. 13.

<sup>3</sup> Там же, стр. 6.

<sup>4</sup> М. Горький. О литературе. М., 1937, стр. 174.

<sup>5</sup> Там же, стр. 450.

<sup>6</sup> Там же, стр. 34.

<sup>7</sup> Там же, стр. 174.

Не следует забывать, однако, что подлинная сущность мировоззрения трудового народа в фольклоре бывает иногда затемнена наносным слоем чуждых ему представлений. В эпоху феодализма эти представления внедрялись, с одной стороны, через христианскую проповедь, с другой — через феодальных хозяев трудящихся. Одним из таких наносных наслоений в фольклоре М. Горький признавал пессимистические настроения: „фольклору совершенно чужд пессимизм, невзирая на тот факт, что творцы фольклора жили тяжело и мучительно — рабский труд их был обесмыслен эксплуататорами, а личная жизнь — бесправна и беззащитна. Но при всем этом коллективу как бы свойственны сознание его бессмертия и уверенность в его победе над всеми враждебными ему силами. Герой фольклора — «дурак», презираемый даже отцом и братьями, всегда оказывается умнее их, всегда — победитель всех житейских невзгод, так же как преодолевает их и Василиса Премудрая. Если же иногда в фольклоре звучат ноты безнадежности и сомнения в смысле земного бытия — эти ноты явно внушены двухтысячелетней проповедью пессимизма христианской церкви“ (имея в виду фольклор времени капитализма, М. Горький добавлял: „и скептицизмом невежества паразитивной мелкой буржуазии, бытующей между молотом капитала и наковальней трудового народа“).<sup>1</sup>

Обращаясь к мировоззрению древне-русской литературы, мы должны иметь в виду, что порожденная феодальным строем общества, эта литература, как надстройка, „становится величайшей активной силой, активно содействует своему базису оформиться и укрепиться“.<sup>2</sup> Литература использует и религию христианства для той же цели укрепления феодального строя. Самый классовый состав писательской среды способствовал тому, что литература древней Руси, особенно в первые века, была выразительницей по преимуществу идеологии господствующего класса. Однако все обострявшаяся классовая борьба между двумя основными классами феодального общества, землевладельцами и земледельцами, „между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя“,<sup>3</sup> и идеология главной массы трудового населения — крестьянства также в известной мере проникает в литературу, непосредственно или через устную поэзию народа.

Задача исследователя древне-русской литературы заключается в том, чтобы показать, как отражается на самом художественном выражении любой темы сплетение в сознании автора впечатлений от реальной действительности с искаженными представлениями о ней, внутренними идеалистическим мировоззрением христианства и доживавших

<sup>1</sup> М. Горький. О литературе. М., 1937, стр. 450—451.

<sup>2</sup> И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, стр. 7.

<sup>3</sup> И. В. Сталин. О диалектическом и историческом материализме. Гос. изд. полит. лит., 1950, стр. 67.

в устном предании дохристианских суеверий. Вместе с тем предстоит выяснить процесс преодоления элементов идеалистического мировоззрения у лучших писателей древней Руси и влияние этой борьбы на художественную систему их. Характерные черты литературного метода, вскрытые таким анализом идейной основы каждого произведения, подлежат затем сопоставлению с типичными признаками поэтического творчества трудового народа, проявляющимися в наиболее близких по содержанию и задачам к данному литературному памятнику видах устной поэзии. Только таким путем можно подойти к решению проблемы соотношения литературы и фольклора древней Руси.

Принципиальная разница между типичной для феодальной литературы трактовкой данной темы и характерными особенностями ее выражения в творчестве трудового народа может быть показана, например, путем сравнения основных тенденций построения образа героя в устном — народном и в литературном — феодально-христианском эпосе.

Герой русского устного, исторического и сказочного, эпоса даже тогда, когда ему противодействуют или помогают „волшебные“ силы, борется и побеждает активными качествами; среди них исторический эпос особо выделяет любовь к родине, мужество, великодушие к слабым и угнетенным; волшебная сказка подчеркивает в герое смелость, находчивость, ум, трудолюбие, активную доброту; в сказках бедняк побеждает богатого не смирением и покорностью ему, а качествами, противостоящими порокам богача, — умом, честностью, бескорыстием, трудолюбием, добротой, одерживающими верх над глупостью, низостью, скупостью, жадностью и злобой.

В христианизованном литературном эпосе русского средневековья (жития, легенды) место „волшебных“ сил занимают христианское „божество“ и „святые“, с одной стороны, и „дьявол“, „бес“, — с другой. Но заслужить помощь первых и побороть сопротивление второго человек может не активными качествами, а пассивными „добродетелями“, обязательными по христианскому кодексу общественной и частной морали; среди них на первом месте — смирение, терпение, всепрощение, отказ от мирских радостей. Так, образ героя в литературном эпосе, если он последовательно выдерживает эту идеологию, снижается: герой становится не реально действующей в жизни силой, а покорным воле божества существом, которого учат не искать счастья и благополучия в этой жизни, не бороться с социальной несправедливостью, а терпеливо переносить все страдания, лишения и насилия, чтобы заслужить „вечную награду“ в „вечной жизни“ — после смерти.

Именно об этом губительном воздействии христианства, убивающего активное сопротивление трудового народа социальной несправедливости и поддерживающего власть „господ“, писал М. Горький: „на протяжении двух тысяч лет сотни церковных писателей и моралистов,



наблюдая ужасы жизни трудового народа, проповедывали и все еще проповедают богатым — необходимость милосердия, бедным — необходимость кротости и терпения, обличали и все еще обличают пороки тех и других“. „На протяжении тысяч лет «великие» моралисты — пророки, «отцы церкви», писатели усердно занимались тем, что обличали порочность рабочей массы, недостатки людей, умалчивали о главной причине пороков и о достоинствах трудового народа, о значении его честного великого труда“.<sup>1</sup>

На такой идеологической основе выростал тип героя, который и в личных и в общественных столкновениях побеждал покорностью, а не борьбой, тип, принципиально отличный от наделенного здоровым жизнеутверждающим мировоззрением героя устной сказки и героической былины. Свое полное выражение такой „христианизованный“ идеал находил в религиозном эпосе — в житийных биографиях. На сближение с этим идеалом идут и летописные портреты „христороубивых“ князей-благотворителей, наделенных основными христианскими добродетелями, и панегирические биографии князей и царей XV—XVI вв., стилизующие их под христианских подвижников, в противоречии с исторической действительностью.

Разница между способом выражения в средневековой литературе самой популярной воинской темы и художественным методом героических былин также наглядно показывает различие между этими двумя областями словесного творчества в оценке роли человека в жизни. В представлении народного эпоса победа всегда добывается руками воина-богатыря, его мужеством; „воинские повести“ древней Руси нередко снижают заслуги „воев“, „храбров“, рисуя появление на поле битвы „небесных воинов“, разящих врага стрелами и мечами, и, таким образом, литература иногда стремится внушить, что не беззаветное мужество народа, а „помощь божия“ решает исход битвы.

Классовое сознание автора определяет в каждом отдельном случае, пойдет ли писатель за официальной феодально-религиозной идеологией, изображая историческую действительность, или он разделит подлинно народную оценку ее; этим, в конечном итоге, будет обусловлено и отношение писателя к художественному методу устной поэзии. Таким образом, в свете решения основных вопросов мировоззрения получают должное объяснение и наблюдения над общими элементами и тенденциями в художественном стиле древне-русской литературы и фольклора, с одной стороны, и над своеобразными чертами этого стиля, свойственными каждой из этих областей словесного творчества, — с другой.

В настоящее время вырисовывается довольно отчетливо круг вопросов, из которых слагается в целом широкая тема „древне-русская литература и фольклор“. Только углубленное изучение всех этих во-

<sup>1</sup> М. Горький. О литературе. М., 1937, стр. 33, 35.

просов объединенными силами литературоведов, фольклористов и историков русского языка позволит со временем установить закономерность в истории взаимоотношений книжного и устного творчества древней Руси, в объеме и характере их проявления в данной общественной среде, в данный исторический момент. Без разрешения этих вопросов во всей их сложности и многообразии мы никогда не сможем показать и подлинную эстетическую ценность литературы XI—XVII вв. как своеобразного этапа в развитии русской литературы, качественно отличного от следующих за ним.

## 2

Историческая тема в русской литературе XI—XVII вв., как показывают наблюдения над разнообразными видами исторического повествования, создавала благоприятную почву для выражения передовыми писателями древней Руси чувств, мыслей и настроений широких масс трудового народа. Именно эта тема давала возможность писателю преодолеть классовую ограниченность своего сознания и в общей оценке изображаемых лиц и событий приблизиться к тому фольклору, который „неотступно и своеобразно сопутствует истории“, в котором „сжат трудовой опыт“ (М. Горький) народа, фольклора, выражавшего и мечту народа о лучшей жизни, и веру в осуществимость этой мечты.

Наиболее яркие формы приобретало такое идейное родство прогрессивной линии развития исторической литературы древней Руси с подлинно народным творчеством в годы обострения борьбы с внешними врагами, угрожавшими свободе и независимости государства, и в периоды государственного строительства, отвечавшего интересам трудового народа. Подъем народного самосознания вызывал в таких случаях отношение к исторической теме, общее у писателя и народного поэта: угроза со стороны „дикого Поля“ побуждала обоих взывать к объединению сил для борьбы; народные герои, бесстрашно сражавшиеся с численно превосходящими силами врага, у обоих создавали уверенность в конечной победе; создание единого централизованного государства на месте раздробленных феодальных владений, отвечавшее общенародным интересам, привело к прямому сближению летописи и устного эпоса в XV—XVI вв.; общественно-политическая деятельность Грозного заслужила одинаково высокую оценку у автора Казанской истории и в устной исторической песне и сказке; в конце второго десятилетия XVII в. повесть и устная песня сошлись в выражении скорби по поводу преждевременной смерти талантливого молодого воеводы Скопина-Шуйского, и потому песня органически влилась в литературное повествование.

Идейная связь писателей древней Руси с народными поэтами вела их к фольклору — источнику народных воспоминаний об истории и

своеобразной художественной форме выражения этих воспоминаний. Мироззрение писателя определяло его эстетику, в частности его отношение к художественному методу и художественному языку устной поэзии.

Этот основной вывод из наблюдений над развитием исторического повествования древней Руси решительно опровергает мнение о том, будто отношения между литературой и фольклором в XI—XVII вв. ограничивались частичным влиянием устной поэзии на письменную и носили характер более или менее случайных сближений. Как видим, проблема гораздо сложнее, связь древне-русского писателя и народного поэта бывала прочнее и глубже, и свести ее к эпизодическим отражениям элементов фольклора в литературе нельзя. Закономерность идейного приближения литературы к фольклору и как следствия его — появления в художественной системе писателя и в его языке определенных черт устной поэтики — очевидна.

Однако нельзя не учитывать, даже и в случаях прямой связи литературы с фольклором, того обстоятельства, что основная форма феодальной идеологии средневекового книжника — христианское мироззрение существенно отражалось и на освоении, на способе передачи воспринятого устного материала. Феодальная идеология не всегда просто отталкивала писателя от народного творчества; иногда писатель, выхолащивая самую сущность, брал из устной поэзии лишь одну ее форму. Но и в этом была также своего рода закономерность.

Древне-русское историческое повествование с XI в. обнаруживает две формы сближения с фольклором вообще и, в особенности, с его историческим и сказочным эпосом: 1) прямое перенесение в литературу фольклорных сюжетов, мотивов или изобразительных художественных средств, без изменения их идейной сущности или в переработке, соответствующей отличному от народного мироззрению писателя; 2) освоение литературой художественного метода народной поэзии, определяемое совпадением оценки событий и цели их художественного воспроизведения.

По мере того, как выдвигались новые задачи исторического рассказа, — менялся и характер отношения к фольклору, как источнику сведений, оценок и художественных средств, непосредственно отражающемуся в литературе, с одной стороны, и как к параллельной области словесного искусства, сближавшейся с литературой и независимо от прямого ее „влияния“ на писателя, — с другой.

В свете этих основных выводов, проследим в общих чертах весь путь, пройденный разнообразными формами исторического повествования с XI по XV в., с точки зрения его отношения к устной поэзии, преимущественно к народному эпосу — героической былине, исторической песне, преданиям и сказкам на исторические темы.

Летописание XI—начала XII в., объединенное в Повести временных лет, по своей основной идеологической целеустремленности пред-

ставляло благодарную почву для установления тесных связей с творчеством трудового народа, особенно с его историческим эпосом. История создания летописного свода, именуемого Повестью временных лет, подтверждает, что на разных этапах своего сложения этот свод прибегал к фольклору как к источнику сведений, с одной стороны, и к идейной опоре — с другой.

Однако нельзя не учитывать того обстоятельства, что кругозор летописцев становится с течением времени шире, а их мировоззрение все больше подвергается воздействию феодального общественного строя и связанной с ним историософии христианства. Вместе с тем на новой ступени исторического сознания летописцы раздвигают рамки самых тем устного эпоса периода патриархально-родовых отношений и времени создания Киевского государства, где преобладала воинская тема (обороны родины и расширения территории государства). Летописцы глубже проникают в оценку государственной деятельности князей; уделяют внимание их международной политике; чутко отмечают рост значения Русской земли среди соседних государств и т. д. В то же время, по мере обострения феодальной борьбы, когда народный эпос, резко осуждая ее, противопоставляет настоящему былое единство Руси, летописцы все чаще расходятся с устным эпосом в понимании исторических событий и этим определяется отбор ими устных источников для своего повествования. Новые политические задачи летописания все больше отодвигают летописцев от устной истории народа. В то же время нормы христианской историософии вводят в изложение летописца чуждое устному эпосу идеалистическое истолкование причин событий вмешательством сил „потустороннего“ мира в судьбу народов и отдельных людей. Как ни ограничен еще в старшей летописи этот элемент новой историософии, однако, как увидим ниже, он проявляется даже в истолковании заведомо народных исторических преданий.

Все эти соображения должны быть учтены при анализе самого способа восприятия составителями Повести временных лет их устных источников и отбора этих источников.

— — —

Старшая русская летопись возникла, как показывают исследования историков и литературоведов, не раньше второй четверти XI в., но лишь к началу 60-х годов XI в. можно, повидимому, отнести тот этап в жизни летописи, когда ее составители начали широко пользоваться среди других источников и устным преданием. Так называемый свод Никона, датируемый исследователями началом 70-х годов XI в., обнаруживает ясно этот интерес к народному эпосу. Трудно с полной достоверностью установить, кем именно было введено в летопись каждое данное устное предание, сохраненное Повестью временных

лет, однако очевидно, что включительно до Нестора — составителя старшей редакции Повести временных лет — все летописцы в той или иной мере дополняли свое изложение устным материалом, по-разному, как увидим, передавая его.

Чем более отдалена от летописца описываемая им эпоха, тем, естественно, чаще прибегает он к народному преданию. Поэтому дохристианский период русской истории особенно обильно расцвечен материалом устного происхождения. Родовые предания („устные летописи“) и предания, связанные с памятными местами, объясняющие их имена, описывающие приуроченные к ним события, подробности биографий исторических лиц IX—X и даже начала XI в. — вот что преобладает среди этих устных источников летописания XI—XII вв. Эти источники давали то более или менее подробные рассказы, содержавшие лишь фактические сведения, то эпически переработанные исторические припоминания. Эта последняя группа устных источников летописи, опиравшаяся также на реальную основу, уже не ограничивалась воспроизведением фактов. Художественное обобщение этих фактов, их истолкование хранителями преданий характеризовали восприятие действительности определенными группами населения в изменявшихся условиях исторической жизни восточнославянских племен.

Мы не имеем возможности установить точно, какую устную форму имело большинство таких эпически обработанных воспоминаний о событиях и лицах, упомянутых на первых страницах русской летописи. Были ли это предания-сказы или песни, рассказывались они или распевались, — для решения этого вопроса следы таких устных памятников в летописи не дают оснований. Однако некоторые приемы эпической переработки исторических рассказов сохраняются даже и в своеобразной передаче летописца. Именно такие летописные эпизоды и позволяют судить о характере восприятия древне-русским книжником фольклора, как особой формы отражения исторической действительности.

Более того, мы наблюдаем затем появление этих специфических средств устного эпоса в литературной манере летописцев (и вообще в литературном эпосе XI—XII вв.), когда они уже самостоятельно, независимо от „неписаной истории“, творчески осмысливают свои наблюдения над исторической действительностью. Заранее следует оговориться, что появление в литературном эпосе, с первых его страниц, таких родственных устной эпической традиции приемов не должно сводиться к „влиянию“ одной области словесного творчества на другую. Родство метода опирается на близость исторического сознания, выросшего в данных исторических условиях. Чем больше писатель в своем классовом осмыслении событий будет отходить от народного поэта, тем реже и слабее будет ощущаться и родство их сознания и метода. Чем глубже будет разница в самом понимании писателем и народным поэтом изображаемых событий, тем более внешними окажутся в литературе эти отзвуки фольклора. Фольклор древней Руси не пред-

ставлял по своей целеустремленности единого целого. Он отразил сложность и противоречивость исторического процесса, борьбу разнообразных классовых интересов. Поэтому, говоря об отголосках устной стихии в литературе, следует всегда учитывать, с чьей точки зрения данный устный источник отражал события и давал им оценку.

В литературе XI—XIII вв. противоречивость устного предания об исторических лицах и событиях отражена слабо. Между тем уже в эти первые века становления феодализма происходили неоднократно вспышки восстаний трудового народа против энергичной феодализации и, насколько позволяют судить поздние записи былин, устный эпос откликался на эти вспышки, выражая народное отношение к ним. Так, в былинах вскрываются следы воспоминаний о насильственном крещении новгородцев Путятой и о киевском восстании 1113 г. Тесно связанный с феодальной верхушкой, летописец не показал, например, как сам народ рассказывал о восстании смердов в Ростове и на Белозере в 1071 г., но передал повествование об этом восстании его „усмирителя“ Яна Вышатича — дружинника князя Святослава, собиравшего в это время дань с местного населения.

Насколько охотно включал в свой рассказ летописец проникнутые горячим патриотизмом предания о героическом прошлом, о борьбе Руси с внешними врагами, о героях, выдлившихся в этой борьбе, настолько планомерно он замалчивал несомненно существовавшие рассказы или песни о борьбе трудового народа с эксплуатацией, нараставшей по мере углубления феодализации. Феодальная идеология летописца не допустила его стать на сторону народа в этой борьбе, поэтому он, такой внимательный в других случаях к „неписаной истории“, совершенно обошел фольклор, отражавший классовый протест „смердов“ и городских ремесленников против нажима феодальных верхов.

Итак, при всем богатстве устнопоэтических отзвуков в литературном эпосе XI—XIII вв., не следует преувеличивать широты отражения в них всего многообразия фольклора той эпохи. Летописец тщательно отбирал то, что соответствовало его официальной роли княжеского или монастырского историографа.

Однако, несмотря на этот отбор, и подлинный фольклор трудового народа проник на страницы летописи. Летописец пытался иногда таким народным сказаниям придать желательный ему смысл, сопровождая их своими толкованиями; тем не менее, за вычетом этих его комментариев, мы получаем в довольно сохранном виде, по крайней мере, содержание, а частично и художественную форму фольклорных произведений.

Так, на основе „неписаной истории“ росло историческое повествование XI—XII вв., проникнутое глубоким патриотизмом, гордостью за славу своей родины и, позднее, тревогой за ее судьбу перед лицом

надвигавшейся из степи опасности, в лице печенегов, половцев и, наконец, татаро-монголов.

Народные предания об исторических лицах и событиях — „неписаная история“ — разнообразно используются в летописи XI—XII вв. Летописцы то вносили их в свой рассказ без разъяснений и дополнительных замечаний, то делали эти предания поводом для морализирующих рассуждений, показывающих существенную разницу между мировоззрением народного эпического поэта и книжника, вмещающего себе в обязанность через историческое повествование внедрять идеологию христианства в его характерной для феодального периода форме.

В наибольшей сохранности Повесть временных лет донесла поэтические предания о борьбе с внешними врагами — печенегами. В этой группе рассказов (белгородский кисель, „отрок“ и воевода Претич при осаде Киева, поединок юноши-кожемяки с печенежским богатырем) летописцем полностью воспринято народное отношение к врагам: они посрамлены, притом не превосходством силы, а умом, умением. Осажденные города, без помощи княжеской дружины, одной военной хитростью, в которой проявляют свою смысленность то „старец“, то „отрок“, — освобождаются от обложивших городские стены печенегов; „сын меньший“ побеждает печенежского богатыря, „превелика зело и страшна“. Во всех этих преданиях, относящихся еще к дохристианскому периоду русской истории, летописец счел возможным обойтись без религиозных мотивировок. Но уже описание поединка князя-христианина Мстислава с касожским богатырем Редедю украшено дополнительным эпизодом: ослабевающий в борьбе с сильным противником князь молится и дает обет построить церковь, после чего немедленно одолевает Редедю. Нет никаких оснований предполагать, что эта мотивировка, снижающая роль самого князя, существовала уже в устном прототипе летописного рассказа. Можно думать, что летописец соединил две самостоятельных темы: поединок Мстислава и постройку им церкви в Тьмутарокани, изобразив эту постройку как выполнение обета, данного в минуту слабости во время поединка. Во всяком случае, победа как „чудо“, как результат вмешательства „божественной“ помощи — мотив, характеризующий то антиреалистическое начало, какое религиозная идеология внесла в героическое, реальное в своей основе предание.

С этим антиреалистическим началом мы встречаемся в летописном истолковании самых разнообразных народных преданий, начиная с предания о гибели „обров“ и кончая тенденциозно изложенной историей восстания смердов в 1071 г. Мы наблюдаем, как религиозная мотивировка сначала появляется рядом с реальной (сказание о гибели обров, рассуждение о „божьей воле“, побудившей полян предсказать покорение хазар, а кудесников — предугадать смерть Олега от коня), причем все яснее звучит мотив полной зависимости судьбы человека от „божественной воли“. Так последовательно снижается роль человека, его

способность активно управлять событиями, пока идеалистическая мотивировка в рассказе о восстании смердов не исказит всю историческую картину для оправдания феодальной эксплуатации. Летописцы XII в. уже настолько прониклись христианским мировоззрением, что разница между их повествованием и народным эпосом становится вполне очевидной.

Однако не следует преувеличивать цельности идеалистического мировоззрения летописца. Реальный ход событий, сама историческая действительность вынуждает иногда повествователя отходить от религиозной историософии, и тогда он снова становится ближе к „неписаной истории“.

До XIII в. включительно летописцы не могли оторваться и от той веры в колдовство, которой была пронизана дохристианская религия восточных славян. Как ни часто напоминала летопись читателям, что „беси“ и их представители на земле — кудесники, волхвы — все это наследники того ангела, который был свержен с неба „за величание“, что настоящий „бог“ — „есть на небеси, седяй на престоле“, — однако „бесовское наущение“ для книжника реально существует. Оттого-то, наряду с героическим устным эпосом, отразившим борьбу народа за единство русской земли, оценку народом участников этой борьбы, — летопись сохранила и следы фольклора, выросшего на почве религиозных суеверий, фольклора, проникнутого сознанием беспомощности человека перед силами природы. И „боги“ волхвов и „бог“ летописца одинаково распоряжаются судьбой человека; и то обстоятельство, что летописец называет „бесами“ богов „поганой“, т. е. дохристианской Руси, а истинным „богом“ только христианское божество, — не создает еще принципиальной разницы между его мировоззрением и убеждениями волхвов, которые он оспаривает. И сказка о сотворении человека (1071), и рассказ о „навьих“ — свидетели существования фольклора, разоружавшего человека и внушавшего ему покорность судьбе и необходимость прибегать к помощи волхвов-кудесников, знающих волю „богов“ и владеющих умением умилять их.

Идеалистические основы дохристианской мифологии не противоречили христианской историософии летописцев: то и другое уводило человека от реальной оценки действительности. Наличие этой разновидности фольклора в повествовании летописцев не делало их рассказ „народным“ в настоящем смысле этого слова.

Однако, по представлениям средневековья, подобные фантастические эпизоды не противоречили задаче правдивого изображения действительности. Метод писателя оставался одинаковым — рассказывал ли он о появлении „навьих“, или „небесных воинов“ и прочего среди правдиво нарисованных людей.

Характерно, что ни в одном из народных эпических преданий о событиях IX—XII вв. нет никаких следов этой веры в „богов“ или „бога“, направляющего ход истории. Любовь к родине и воинская



честь, мужество, находчивость, военная хитрость — вот что выручает в борьбе с врагами дружину и князей „поганых“ и принявших христианство. Единственное исключение — рассказ о смерти Олега, предсказанной волхвом; однако самое это предсказание может расцениваться как своеобразная месть князю-захватчику.

Реализм устного эпоса, созданного трудовым народом, подчеркивает идеалистическую сущность сказок, выросших на почве старой религии — скорее всего среди служителей этой религии и уже лишь поддержанных отсталыми слоями народа. Этим сказкам с течением времени как раз и суждено было слиться с легендами и сказками, опиравшимися на представления сменившего язычество христианства. И в этом родстве суеверий обеих религий — объяснение того, что „мьчту“ „бесовьского наущения“ христианин-летописец считает возможным ввести в свой рассказ. Больше того: летописец всерьез убеждает читателя, что „бесовьская вълшвеня бывають“, особенно через женщин. Так общая идеалистическая основа заставила летописца, в сущности, признать то, против чего он пытался возражать.

Народное предание и сказка были не единственными формами, в которых устнопоэтическая традиция отразилась в летописи. Не раз исследователями указывалось на наличие в летописном тексте ряда пословиц и поговорок.

В Повести временных лет, однако, пословица-поговорка вводится лишь вместе с народным преданием. Летописец не пользуется еще в собственном повествовании выделенной народной пословицей — такое ее применение придет позднее. Для подкрепления своих собственных размышлений летописец предпочитает пользоваться книжными изречениями, дающими ему возможность противопоставить новое христианское отношение к событиям и новую оценку поведения человека — всегда идеалистическую, — реалистическому мировоззрению устной пословицы.

Летопись XI—XII вв. воспроизвела заговорно-заклинательные формулы. Так, исконные клятвы над оружием угадываются под заговорными формулами договоров с греками Игоря и его сына Святослава.

Однако за исключением более или менее прочных фразеологических сочетаний, закрепленных в пословицах, поговорках, заклинаниях, — трудно установить, что в ярком и выразительном языке старшей летописи может быть отнесено к поэтической речи фольклора. Огромное воздействие на язык летописцев образности живого русского языка — факт неоспоримый. Но почти невозможно в каждом отдельном случае определить, прошла ли уже эта живая речь через обработку фольклорной практики, прежде чем она достигла летописного рассказа. Задача историков русского языка — разобраться в этих сложных вопросах образования поэтической фразеологии старших

памятников древне-русской литературы, среди которых первое место по праву занимает Повесть временных лет.

Иной характер взаимоотношения литературы и фольклора в XI—XII вв. обнаруживает родство литературных „похвал“ этого времени и „плачей“ с народными „словами“-величаниями и народными плачами-причитаниями. Здесь приходится говорить не столько о „влиянии“ соответствующих устнопоэтических форм на литературные, сколько об общности метода изображения у народного поэта и писателя. „Величания“ и „плачи“-причеты были бытовым явлением и, отражая реальную действительность, писатель вводил их в требуемые моменты в свой рассказ. И если в самом построении тех и других лиро-эпических эпизодов обнаруживается родство между литературой и фольклором, то это родство является уже следствием воспроизведения в литературе бытовой обрядности.

Характерной чертой народных величаний является гиперболизм в изображении характера героя, в особенности тех его черт, которые являются наиболее желательными. Вера в силу слова побуждала народного певца в величании называть желательные качества с тем, чтобы они и в действительности осуществились в поведении героя. Устные „слова“—явление более поздней эпохи, однако и в них герой наделяется не только усиленными, действительно ему свойственными качествами, но и желательными, с точки зрения данного исторического момента.

Когда с XII в. в летописном рассказе появляются „похвалы“ князьям, метод их составления обнаруживает родство задач книжника и певца „слова“: эти литературные характеристики также объединяют реальные качества героя с желательными для данного исторического момента. Такое родство создается не потому, что книжник сознательно подражал народным величаниям и „словам“, а потому, что он, как и народный певец, стремился создать пример образцового, с точки зрения его мировоззрения, поведения. Оценка героя с определенной общественно-политической позиции лежит в основе каждого исторического портрета—будет ли это образ положительного героя или противостоящий ему образ „врага“. Возвеличение действительности, некоторая доля схематизации, отбор качеств, соответствовавших устремлениям автора,— вот основные черты метода построения характеристики и положительных и отрицательных героев в старших литературных памятниках и в устном эпосе. Самые оценки поведения могут совпадать у писателя и народного поэта, но могут и расходиться, однако метод отражения действительности долго сближает две области словесного творчества. Итак, в данном случае эта близость свидетельствует не о „влиянии“ устного эпоса на книжный, а об общности функции литературных „похвал“ и устных „слов“.

Не только народные „слова“, но и другая форма лиро-эпических песен, связанных с прославлением героев, нашла свое отражение

в летописи XI—XII вв. — похоронные причитания. „Плачи“ или „вопли“, как их называет Повесть временных лет (1078), перешли в христианский период из похоронной дохристианской обрядности, и элементы прославления умершего, т. е. „славы“,<sup>1</sup> видимо, органически вливались в них и в устной традиции, когда плач сопровождал и самое погребение, и поминальные тризны. Включение похвальной характеристики умершего в плач по нем типично и для летописных плачей, и для содержания плачей в так называемых княжеских житиях, и для внелетописной исторической повести.

Публицистическая окраска летописных плачей, дающих оценку героя, роднит плачи и похвалы в литературе, как и в фольклоре. Но направление оценки, конечно, определялось всем комплексом общественно-политических воззрений летописца. Идеализация героя отражала также религиозную мысль книжника, который наделял его качествами примерного христианина, не считаясь зачастую с действительностью.

Все разновидности древне-русской литературы, давая более или менее развернутую характеристику героя, слагают ее обычно по методу преувеличения положительных или отрицательных качеств, независимо от того, наделен ли был герой этими качествами в действительности, или они приносятся в его облик в соответствии с замыслом автора. Так создаются типичные для каждого данного исторического момента и для данного классового сознания автора фигуры положительного или отрицательного героя и в исторической литературе. Но лишь тогда, когда выделение типичных черт характера и поведения героя определяется его оценкой, соответствующей отношению к нему исторического сознания народа, литература сближается с устным эпосом в самом своем существе, а не только в методе гиперболизации.

Две основных тенденции направляют гиперболизацию качеств положительных героев в исторической литературе XI—XIII вв.: одна ставит своей задачей идеализировать героя как члена феодального общества, наделяя его чертами, соответствующими его положению в этом обществе; другая стремится на первый план выдвинуть его качества образцового христианина. В зависимости от того, в каком направлении дорабатывает автор материал конкретной исторической действительности, — он прибегает то к гиперболическим средствам выражения, аналогичным устному эпосу, то к методу и стилистике агиографической, церковно-панегирической литературы. Оценка героя с определенной общественно-политической позиции лежит в основе каждого

<sup>1</sup> Термин „слава“ в значении похвальной песни сохраняется и в былинах, где, впрочем, он обозначает и вообще песенный рассказ о событии: „еще тут пошаному славы поют“ (Гильфердинг 1038), „только той Соловнику славы поют, а Ильина то слава не минуется, отныне век по веку“ (Гильфердинг 233), „А слава ему (князю Роману) век по веку да не минуется“ (Гильфердинг 408).

исторического портрета, который, таким образом, характеризует не только изображаемого исторического героя, но и самого автора, и классовую позицию того общественного слоя, выразителем мнения которого является этот автор.

В основе авторского выражения лежали реальные требования данного этапа развития феодального строя, поскольку эти требования признавались самим автором. Если герой в действительности и далек был от идеального выполнения этих требований, автор наделял его чертами примерного поведения, имея в виду поучительную цель — дать образец феодала данного исторического момента, показать его с лучших сторон, собрав эти стороны в одном лице, хотя бы в действительности его исторический герой лишь в слабой степени напоминал этот примерный портрет.

В тех случаях, когда эти идеальные требования отвечали народным интересам, создавалась почва для сближения литературных похвал с народно-песенными „славами“. Вот почему Галицкая летопись вспоминает о Владимире Мономахе в художественной форме, сохраняющей признаки устного эпического стиля. Владимир Мономах и в народной памяти остался прежде всего как победитель половцев, успешно защищавший Русскую землю от их набегов.

С XIII в. в летописании северо-восточной Руси окончательно возобладал агиографический метод построения княжеских похвал, все больше отдалявший их от устно-эпического. Самый подбор эпитетов, определявших идеализированные качества правителей, говорит об этой преобладающей тенденции: теперь князь „благоверный, христоробивый, благолюбивый, богобоязливый, благочестивый, христоробец, праведный, милосердный, щедр, кроток, смирен, благосерд“ и проч.

Этот переход к агиографической идеализации, а следовательно и удаление от принципов устного эпоса особенно ярко проявился при переработке исторических рассказов об отмеченных церковным прославлением князьях в украшенные их биографии, так называемые „княжеские жития“. Гиперболизм их старших портретов, подчеркивавший господствовавшую черту характера и поведения героя, заменяется идеализацией героев как христианских подвижников. Так, например, мудрый правитель и храбрый, искусный полководец Александр Невский, каким рисует его „повесть о мужестве“, изображающая его в виде эпического богатыря, в дальнейших „житийных“ обработках его биографии превращается в благочестивого по преимуществу князя.

Историческую литературу древней Руси и фольклор сближает в сильной степени художественная выразительность изложения, выросшая в обоих случаях на основе образности живого языка. Этой устной основе поэтической речи исторического повествования XI—XII вв. посвящено исследование Д. С. Лихачева, вскрывшего „неисчерпаемый

родник поэтической образности“ древне-русского языка в самой русской действительности.<sup>1</sup>

## 3

Вопрос о художественной сущности „Слова о полку Игореве“ решался в течение 150 лет, прошедших со времени первого его издания, различно. Была тенденция рассматривать „Слово“ как памятник исключительно книжный; господство в литературоведении компаративизма сказывалось даже в попытках отыскать „иноземные источники“ своеобразного стиля „Слова“. С другой стороны, наблюдалась и противоположная тенденция: стремление ограничить родственные „Слову“ произведения устной поэзией, видеть в „Слове“ тот устный героический эпос, прямым потомком которого, по мнению одних исследователей, являются украинские думы, по мнению других — былинный эпос. Крайним выражением этого направления было отождествление „Слова“ с былиной. В борьбе между этими двумя точками зрения сложилось, в конце концов, отношение к „Слову“ как к произведению книжной культуры XII в., однако в сильной степени связанному и с народной поэзией своего времени.

Если в целом этот вывод и должен быть признан справедливым, то самый способ установления связей „Слова“ с литературой и с устной поэзией в огромном количестве исследований вызывает у нас чувство неудовлетворенности. Основной порок этого способа заключается в его формальном подходе к сопоставлениям художественных элементов „Слова“ с аналогичными эпизодами литературного или устно-поэтического происхождения. Изучение „Слова“ как художественного памятника показывает, что его поэтическая система отличается „строгим единством“, обусловленным тем, что эта система и в целом и в ее отдельных элементах подчинена идейному содержанию произведения. Вне этой подчиненности и обусловленности стилистические аналогии сами по себе ничего еще не могут объяснить.

Вопрос о литературном, книжном, или устном происхождении „Слова“ решается не наличием в нем отдельных выражений книжного или народно-поэтического характера, а прежде всего его общей композицией. Для устной поэзии закономерно разграничение эпических и лирических жанров, в которых поэтическая система имеет свои только данной группе произведений свойственные признаки. Между тем в „Слове о полку Игореве“ органически слиты повествование и страстная публицистика, взволнованная лирика и сказочная эпическая песня, причетъ и заклинание. Гениальность автора „Слова“ как художника проявилась в том, что он сумел все эти разнообразные художествен-

<sup>1</sup> Д. С. Лихачев. Устные истоки художественной системы „Слова о полку Игореве“. „Слово о полку Игореве“. Сб. иссл. и ст. под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1950, стр. 53—93.

ные средства подчинить единому идейному замыслу и создал на их основе свой единый стиль, из которого не выпадает ни один из элементов, каково бы ни было их происхождение. В сложной ткани повествования „Слова“ они не делимы, хотя и сохраняют свою тональность, определяемую идейным назначением каждого данного эпизода.

Вот почему так трудно, точнее — невозможно — до конца решить вопрос о том, каков же жанр „Слова“. Автор воспользовался всеми возможностями, какие ему предоставляла не только книжная литература, но и устная поэзия, отлично ему знакомая и творчески освоенная в самой своей внутренней сущности.

Итак, вопрос о жанре „Слова о полку Игореве“ не может и не должен решаться так, чтобы этот гениальный памятник оказался ограниченным законами одного какого-либо литературного вида. В том и заключается особенная широта художественного дарования автора, что он сумел создать свой, неповторимый, жанр для выражения богатства мыслей и настроений, единых в своей целеустремленности, но многообразных по характеру и тональности. Вот почему ему, страстному публицисту, так по душе пришлись формы ораторской речи; горячему патриоту, стремившемуся разбудить чувство любви к родине и к трудовому народу, понадобились краски народной поэзии, рисовавшей родную природу и человека; певцу „славы“ Русской земле слышались песни народных певцов. Каждая линия в его творении требовала своей художественной формы, но скреплявшая их единая мысль придала единство и поэтической системе автора. Разнообразие формы отдельных эпизодов „Слова“ так же не препятствует цельности всего памятника, как не мешает оно воспринимать нам „Войну и мир“ в ее идейно-художественной целостности.

Определяя художественную природу „Слова“, мы должны с особым вниманием отнестись к вопросу о характере его отношения к устной народной поэзии.<sup>1</sup> Хотя этому вопросу посвящались исследования в течение всех 150 лет со времени первого издания „Слова“, однако долгое время весь пафос исследователей сосредоточивался на накоплении все большего числа параллелей к отдельным эпизодам и выражениям „Слова“ — из произведений устной поэзии — эпической, лирической, обрядовой, а также на изучении своеобразной ритмики „Слова“ на фоне устных песенных ритмов. Как ни богат собранный таким путем материал, он не решает вопроса о том, какова функция устной поэтики в художественной системе автора „Слова“, какова ее связь с идейным замыслом памятника, в чем заключается закономерность использования автором средств устной поэзии.

<sup>1</sup> Этому вопросу посвящена моя статья в книге: „Слово о полку Игореве“. Под ред. чл.-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц. М.—Л., 1950, стр. 291—319 (серия „Литературные памятники“). — В настоящем разделе излагаются основные выводы этой статьи.

Основная идея „Слова“ — „призыв к единению“, защита единства Руси — это народная идея, характеризующая народный исторический и героический эпос. Идеал единства Русской земли для автора „Слова“ — времена „первых князей“, т. е. Святослава I и Владимира Святославича, „старого“. В этой идеализации времени создания Киевского государства автор идет по стопам народного эпоса, противопоставлявшего прошлое современным феодальным раздорам.

Однако историческую концепцию автора нельзя приравнять целиком к концепции устного эпоса. Тонкое понимание сложных взаимоотношений внутри феодальной системы, точная оценка роли каждого из князей в общем ходе событий, ясное понимание положительных и отрицательных сторон в их деятельности — все это рисует автора как человека, отлично осведомленного в феодальных и дружинных делах и понятиях; он широко образован, обладает большими историческими знаниями. Все это давало ему возможность гораздо глубже оценить исторические события, шире развернуть свою историческую концепцию, чем это мог сделать народный эпос.

Автор „Слова“ занимал „свою, независимую патриотическую позицию, по духу своему близкую широким слоям трудового населения Руси. Его произведение — горячий призыв к единению Руси перед лицом внешней опасности, призыв к защите мирного созидательного труда русского населения — земледельцев и ремесленников, еще тесно связанных с этими земледельцами... Именно крестьянство снабдило автора «Слова» (возможно дружинника) своим мировоззрением, выраженным и в фольклоре, своим фольклорным отношением к прошлому и настоящему“.<sup>1</sup>

Автор зовет к единению во имя интересов трудового народа и оценивает деятельность своих современников-князей с точки зрения соответствия ее этим интересам. Народность мировоззрения автора „Слова“ является, таким образом, основной причиной его приближения к народному поэтическому творчеству — в самых задачах и методе художественного изображения, в отборе поэтических средств выражения. Стилистические совпадения „Слова“ с устной поэзией были следствием того, что автор пошел по пути народных поэтов в самой оценке событий и поведения своих героев, в целеустремленности его взволнованного рассказа.

Автор „Слова“ ушел от современной ему литературы — в том числе и исторической, когда он отбросил совершенно характерную для нее „философию истории“, отказался от религиозной дидактики, от мотивировки событий вмешательством сверхъестественных сил. Он ждет помощи Русской земле не от потустороннего мира, а от сильных и могущественных князей и воинов — „храбрых русичей“. И именно эта

<sup>1</sup> Д. С. Лихачев. Исторический и политический кругозор автора „Слова о полку Игореве“. „Слово о полку Игореве“. Сб. иссл. и ст., М.—Л., 1950, стр. 51.

целеустремленность всего „Слова“ в целом выводит автора прежде всего на путь создателей народного героического эпоса.

Никто не может уже теперь оспорить, что образы князей, нарисованные автором „Слова“, историчны — они воспроизводят с поразительной точностью все наиболее характерное в облике каждого князя, свидетельствуя о широкой осведомленности автора в политических делах своего времени. И вместе с тем в способе художественного воплощения лучших, а главное — наиболее сильных представителей Русской земли автор сознательно применяет поэтическую идеализацию. Направление этой идеализации то же, что в народном эпосе, рисуящем богатырей, защитников родины. „Слово“ гиперболически изображает воинские доблести и политическую власть тех князей, к которым и Святослав киевский, и сам автор обращаются за помощью. Защитники Русской земли — воины-дружинники и князья — в „Слове“, как богатыри в народном эпосе, должны быть наделены определенным комплексом качеств — литература и устная поэзия сознательно рисуют идеал защитника родины, стремясь разбудить лучшее в душе своих современников.

Поставив себе ту же задачу, какой служил народный героический эпос, — вдохновить предводителей „храбрых русичей“ на борьбу за родину — автор „Слова“ выполнил эту задачу тем же художественным методом, каким народный певец создавал образы богатырей, защитников Русской земли, каким народные „славы“ воспевали героев: он создал ряд идеализированных портретов тех князей-современников, от которых ждал помощи в объединении воинских сил против наступавших половцев.

Горячая любовь к родине, к трудовому народу ввела в художественную систему автора „Слова“ то лирическое отношение к природе, какое характерно для народной поэзии, преимущественно лирической. Широкие картины природы, среди которой разворачивается действие в „Слове“, лирическая тональность этих картин, изображающих отклики природы на судьбу „храбрых русичей“, гениальное мастерство создания символически-метафорической речи на основе впечатлений от этой природы и гармоническое сочетание реального и метафорического пейзажа — все это создано в „Слове“ на основе устно-поэтической стихии и принципиально отличает художественную систему его автора от типичного для христианизированной литературы феодального периода использования метафор-символов из области природы в их сопоставлении с религиозными представлениями.

Это отличие от литературной традиции распространяется и на применение в „Слове“ образов, взятых из области труда: автор-патриот напоминает читателю картины мирного земледельческого труда то в их реальном, то в метафорическом осмыслении, чтобы противопоставить этот труд разорительным войнам, чтобы призвать к защите его. Религиозно-дидактическая литературная традиция сопоставляла труд земледельца с проповедью христианства.



Это чувство единства человека с природой неотделимо от глубокой любви его к родине, оно характеризует новый этап в развитии поэтического мышления и потому нет оснований, как это обычно делается, возводить его к „анимистическим“ представлениям доклассового общества, для которого характерна борьба с природой, а не признание единства с ней.

Если говорить об отголосках в поэтике „Слова“ пережитков представлений патриархально-родового периода, то их скорее следует отметить в рассказе о чудесных свойствах Всеслава Полоцкого, который „скочи лютым зверем“ или „вълком“. Этот поэтический образ в далеком прошлом имел основу в тотемистических представлениях. Вместе с другими отголосками дохристианской мифологии, этот поэтический образ представляет те „языческие элементы“, которые, по словам Маркса, „выступают еще весьма заметно“<sup>1</sup> в „Слове“.

Автор „Слова“ — выразитель общественного мнения лучших людей своего времени, великий патриот и народолюбец, неразрывно связанный со своим народом, сделавший Русскую землю и русский народ главным героем своего повествования, нашел материал для построения непревзойденного по выразительности художественного стиля в том общенародном языке, который к XII в. таил в себе огромные возможности развития, и в отработанных уже поэтическим гением народа средствах богатой сокровищницы устной поэзии. Подлинная народность его мировоззрения была истинной причиной того, что „Слово о полку Игореве“ — это гениальное литературное произведение неотделимо от живого источника народного языка и народной поэзии. В народности всего идейно-художественного существа памятника — тайна его неувядаемой прелести.

## 4

В то время как летопись, превратившись в более или менее точный рассказ о современных каждому составителю событиях, с XII в. все реже заносила на свои страницы целые народные предания, реже прибегала как к источнику сведений к устному материалу и, глубже проникаясь официальной идеологией, все дальше отходила от народной оценки событий, — развивавшаяся рядом с ней историческая повесть, в лучших своих образцах, широко использовала народный исторический эпос и по своему мировоззрению гораздо ближе подходила к нему даже и в тех случаях, когда прямо и непосредственно не была с ним связана.

Принципиальное отличие в самом характере отражения исторической действительности и ее оценки в памятниках, так или иначе примыкающих к народному эпосу, от изображений и истолкований,

<sup>1</sup> Письмо к Энгельсу 5 марта 1856 г. — К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. т. XXII, М.—Л., 1931, стр. 122—123.

опирающихся на официальную историософию, — становится особенно очевидным, если сравнить литературные разработки одной и той же темы. Наглядный пример такого принципиального отличия в освещении одних и тех же исторических фактов представляют литературные отражения авторами XIII в.<sup>1</sup> татаро-монгольского нашествия.

После первого татаро-монгольского нашествия 1223—1224 гг. летописец, растерявшийся от ужасов поражения, придал своему рассказу мистический оттенок, изобразив неотвратимость бедствия. Он с полным доверием передал слух о том, будто новые враги — это тот самый народ, который был заклепан в горах и который должен снова появиться „к скончанью времен“, т. е. к концу мира. Разгром русских князей — это „суд божий“. Разбитые вместе с русскими половцы наказаны богом за „кровь христианську“. В изображении Серапиона Владимирского, первое нашествие и поход Батыя 1237—1238 гг. — наказание русским людям за „грехи“; он зовет их к покаянию как к единственному средству избавления. Соответственно такому осмыслению событий оба автора — и летописец и Серапион — прибегают к условному, антиреалистическому стилю именно тогда, когда они пытаются дать ответ читателю — как и почему обрушилось на Русскую землю такое страшное несчастье. Избавление от него — только в молитве, покаянии.

На таком осмыслении событий сошлись и летописец, писавший под непосредственным впечатлением первого нашествия, и Серапион Владимирский, неоднократно возвращавшийся к воспоминаниям об обоих разгромах, последний раз обратившийся к этой теме более чем через сорок лет после Калкской битвы.

Совсем иначе подошел к литературному отражению Батыева нашествия автор Повести о разорении Рязани.

Как человек своего времени, он отдал некоторую дань религиозным элементам изложения. Но за исключением традиционного уже для XIII в. в историческом повествовании объяснения всякого несчастья наказанием Божиим — „грех ради наших“, — привычных эпитетов иноверного царя-завоевателя „безбожный“, „льстивый“, „немилосердый“, „лукавый“, „немилостивый“, „враг крестьянский“, „зловерный“, „нечестивый законопреступник“, „злой отметник“ (при именах русских князей этим эпитетам противостоят подчеркивающие их „благоверие“: „благоверный“, „честный“, „блаженный“) и одной молитвы о помощи, — весь остальной рассказ о Батыевом нашествии представляет собой изображение исторической действительности, лишенное всякой мисти-

---

<sup>1</sup> Ошибочно сводит П. Н. Сакулин (Русская литература, ч. I. М., 1928, стр. 138) все повести о татарщине к изображению „борьбы христиан с поганами“, откуда в них открывался „доступ элементам церковного, в частности, агнографического стиля“. Во-первых, так расценивалась уже борьба с половцами, что также иногда вводило в повести „элементы церковного стиля“, а, во-вторых, есть повести о татарщине, лишенные этого налета церковности (о взятии Рязани, Задонщина). „Умильцами“ и „украшенными“ в духе агнографии стали не все повести,

ческой окраски и призывов к покаянию. Враг силен, жесток, картина поражения рязанцев и разорения всей их земли трагична, вызывает к сочувствию, но не рождает ощущения безнадежности. Мужественная защита родины — до конца, до гибели последнего воина, презрение к врагу, беззаветная храбрость рязанцев, наводящая ужас даже на Батю и его войско, — вот та идейная основа повести, которая объединяет все ее части. Она скрепляет все эпизоды: взятие Рязани, расправу с рязанским князем Федором и смерть его жены Евпраксии, бой Евпатия Коловрата с войском Батю, заключение и последнюю характеристику рязанских князей.

В Повести о разорении Рязани народен самый замысел, вся идеология повести, внушающей веру в возможность силой оружия, а не молитвами, и покаянием бороться против страшного врага.

Подойдя вплотную к народной оценке татаро-монгольского нашествия, в частности на Рязанскую землю, автор повести ввел в самый свой замысел и целые народные сюжеты.

Уже давно исследователями отмечалось, что Евпатий Коловрат — герой народной песни о жестокой схватке с многочисленной Батыевой ратью небольшой дружины рязанских „резвцов и удалцов“. „В эпизоде о Евпатии Коловрате нельзя не видеть драгоценного остатка народной исторической песни, если не современной, то, вероятно, близкой по сложению ко времени события“.<sup>1</sup> Но неоднократно пытались утверждать, что в „Повести о разорении Рязани“ этот эпизод — вставной, дополнивший ранее сложившуюся повесть. Для этого нет никаких оснований, раз, как мы видели, самый замысел повести целиком соответствует народному представлению о защитниках Рязани. Органическая связь рассказа о Евпатии с общим построением повести очевидна.

Длительный бой малой дружины Евпатия с огромной ратью Батю и поединок самого Евпатия с Хостоврулом представлены в повести с обычной для народного эпоса идеализирующей гиперболизацией: „бьяше нещадно, яко и мечи притупишася“, „татарове сташа яко пияны“, „татарове мняше яко мертви восташа“, „Еупатий же исполни силою и разсече Хостоврула на полы до седла. И начаша сечи силу татарскую и многих тут нарочитых богатырей батыевых побил, ових на полы пресекоша, а иных до седла краяше...“ (напр. в описании битвы войско Батю настолько численно превосходит русское, что „един бьяшеся с тысящею, а два со тмою“; рязанские „удальцы и резвцы“ бьются так „крепко и нещадно, яко и земли постонати“; убиты все „князи местные и воеводы крепкия“ — хотя, в действительности, часть князей уцелела). Сам Батый гиперболически изображает богатырство рязанцев: „Мы со многими цари, во многих землях, на многих бранех бывали, а таких удалцов и резвцов не видали, ни отци наши возвестиша нам. Сии бо люди крылатыи и не имеющие смерти“. Эпической

<sup>1</sup> В. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. I. М., 1937, стр. 320.

формулой выражает сожаление Батый об убитом Евпатии: „Аще бы у меня такой служил, держал бых его против сердца своего“.

В полном соответствии с народным эпосом, Батый изумленно спрашивает воинов Евпатия: „коea веры еста вы и коea земля“ (ср. в былинах: „коей орды да ты коей земли“).

В рассказе о Евпатии развернут народнопоэтический образ битвы-пира, проходящий в разных вариантах через всю повесть. Этот народнопоэтический символ подчинил себе книжный образ „смертной чаши“.

Повесть сохранила основную идею народного предания о Евпатии: врага можно утратить, а значит и победить мужественным отпором его грубой силе. Эта идея не имеет ничего общего с настроением подавленности, обреченности, которым проникнуты другие книжные рассказы о битве на Калке и о нашествии Батыя, убеждающие читателя, что только „покаяние и молитва“ могут спасти от посланного богом за грехи врага.

Рассказ повести об убийстве рязанского князя Федора и о самоубийстве его жены с сыном, по мнению В. Миллера, носит следы эпической обработки. Реальный исторический факт дополнен, видимо, эпическими мотивами, параллели к которым можно найти и в былинах. О красоте Евпраксии Батыю сообщает рязанский вельможа, как в былине князя Владимира подбивает овладеть красивой женой Данилы Ловчанина — Мишатка Путятич. Евпраксия кончает самоубийством, как и жена Данилы. Весь рассказ об этом приурочен, конечно позднее, — к происхождению имени „Никола Заразский“ („заразился“ княгиня на том месте).

Если рассказ, изображающий самую битву с татарами, а тем более повествование о Евпатии Коловрате не оставляют сомнения в эпическом происхождении, то относительно общего построения повести, показавшей единодушие рязанских князей-братьев на совещании и на поле брани и наделившей их одной судьбой — смертью в битве — трудно решить, было ли оно навеяно эпическими преданиями — песнями о гибели богатырей в предшествующем нашествии 1224 г., или в данном случае автор повести мыслил как народный эпический поэт.<sup>1</sup> Может быть автор и не ставил перед собой

<sup>1</sup> В противоречии с историческими фактами, все упоминаемые в повести рязанские князья именуются „братьями“, причем в совещании, созванном князем Юрием Ингоревичем перед нашествием Батыя, участвуют и живые и умершие к 1237 г. князья. В битве с Батыем, по повести, гибнут все рязанские князья, хотя исторически это неверно. Д. С. Лихачев сближает эти анахронизмы и отступления от истории в повести с эпосом — со стариной о гибели богатырей: „Это соединение всех рязанских князей — живых и мертвых — в единое братское войско, затем гибнущее в битве с татарами, вызывает на память эпические предания о гибели богатырей на Калке, записанные в поздних летописях XV—XVI вв. Там также были соединены «храбры» разных времен и разных князей (Добрыня — современник Владимира I и Александр Попович — современник Липицкой битвы 1212 г.). И здесь и там, следовательно, результат общего им обоим эпического осмысления Батыева погрома как общей круговой чаши смерти для всех русских «храбров». — Воинские повести древней Руси. М.—Л., 1949, стр. 129.

задачи исторически точно передать ход событий и, в соответствии с фактами и хронологией, рассказать об участниках битвы. Если же его целью было изображение „разорения“ Рязани и в то же время похвала храбрости и единодушию своих рязанских князей, то он мог, в нарушение исторической действительности, вывести на сцену уже умерших князей и показать участников битвы всех до одного убитыми в неравном бою. Этим усиливалось впечатление неизбежности поражения: все бились до смертного конца; дальше сопротивляться было некому. Оттого и самая битва представлена в эпических чертах, с обязательным для эпоса гиперболизмом.

Народность замысла, подлинно народная оценка событий не только вовлекла в язык автора целые народные предания; она втянула большое количество устнопоэтических образов, органически слитых с теми, которые принадлежали уже литературному письменному языку, но самый отбор которых также в значительной мере был определен характером основных источников автора — народных преданий и песен.

К поэтике устного героического эпоса и к устной воинской речи восходит фразеология повести в ее воинской части: „дружина ласкова“, „резвцы, удалыцы, узорочье и воспитанье рязанское“, „господство резанское“, „воеводы крепкие“, уже в летописи разработанный кодекс воинской чести: „лучше нам смертию живота купити, нежели в поганой воли быти“, — хотя рука книжника сказалась на привнесении христианского мотива в старый призыв: „луче ж бы потяту быти, неже полонену быти“ („Слово о полку Игореве“). Вместо простого „потяту быти“ или летописного „изомрем“, „умрем“, — здесь религиозное понятие „живота“, т. е. загробной жизни в „царстве небесном“ в награду за почетную смерть за родину. Внимание читателя уже переключается в новую область понятий; обязательность исполнения воинского долга подтверждается обещанием „небесной награды“.

Заключительный плач, со временем доработанный по типу плача княгини Евдокии, вдовы Дмитрия Донского, т. е. не раньше XV в., содержит следы и более древней своей основы в такой, например, фразеологии: „чести-славы ни от кого приемлемо“, „дружина ласкова“, „за утеху и радость“, „узорочье рязанское, храбрые удалыцы“. Так и в риторической похвале-характеристике убитых князей народноэпический стиль слышен еще ясно: „лицем красны, очима светлы, взором грозны... сердцем легкы“, служили „правде-истине“.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Не все из фольклорной поэтики повести оказалось понятным позднейшим читателям. В так называемой „стрелецкой“ редакции повести о Еватии Коловрате неудачно изменен символ битва-пир: русские воины говорят о себе Батью: „И ты о сем не дивися, царю, что нас наш государь князь упоил питием хмельным на толикую и великую рать татарскую. И мы елико смыслили, так и сотворихом“. То же сделали они из образа крылатых воинов, заменив его сравнением: „Сни бо людие, ако львы сердца, и сильны и легцы, ако птицы крылати пролетающе и пресекающе полки наша“; пропустили в описании поля битвы упоминание о „траве-ковыле“ —

Повесть о разорении Рязани была не единственным памятником литературы первых лет татаро-монгольского ига, обнаруживающим живое сознание могущества Русской земли. После первого поражения на Калке было создано „Слово о погибели Русской земли“. Как бы мы ни расценивали этот памятник, — называя его отрывком не дошедшего произведения или предисловием к житию Александра Невского, — ясно одно: автор нарисовал здесь картину русской природы, чтобы восхвалить Русскую землю, противопоставив бывшее ее величие теперешнему (после татаро-монгольского нашествия) запустению:

„О светло светлая и украсно украшена земля Руськая! и многими красотами удивлена еси: озера многими удивлена еси, реками и кладязьми месточестными, горами крутыми, холми высокими, дубравами ч[а]стыми,<sup>1</sup> полями дивными, зверьми различными, птицами бесчисленными, города великими, селы дивными, винограды обителными, дома церковными, и князьями грозными, бояры честными, вельможами многими! всего еси исполнена земля Руская, о правоверная вера христианьская“.

Художественные средства для широкой картины русской природы автор взял если и не непосредственно из фольклорного поэтического стиля, то, во всяком случае, из его источника — образной живой русской речи: именно отсюда у него „горы крутые“, „холми высокие“, „дубравы частые“ — постоянные словосочетания позднейшей устной поэзии.

## 5

Тверская литература первой половины XIV в. обнаруживает большой интерес к теме народных восстаний против татаро-монгольского ига. Великокняжеский тверской летописный свод 1305 г., изображая насилия татар, дает правильную политическую оценку княжеских междоусобий, которые втягивали и татаро-монгольских ханов и их представителей на Русь — баскаков в кровавые столкновения между враждовавшими князьями, показывает и бессмысленность разрозненных, несогласованных выступлений отдельных князей против татар, выступлений, за которые приходилось потом жестоко расплачиваться „черным людям“. Летописцу ясна роль татаро-монгольских властей в разжигании княжеских междоусобий, которое было одним из методов ослабления Русской земли, а следовательно и ее сопротивления захватчикам: „Натравливать русских князей друг на друга, поддерживать несогласия

---

„лежащи на земли пуге в поле никем не брегоми...“ (см. издание этого текста: Д. С. Лихачев. Повести о Николе Зараском. Тр. ОДРЛ, т. VII, 1949, стр. 365 и сл.).

<sup>1</sup> Принимаю поправку Х. Лопарева, раскрывая написанное под титлом с гласным а, вместо обычного и, так как эпитет „чистая“ в приложении к „дубрава“ вряд ли может быть для XIII в. уместным.

между ними, уравновешивать их силы и никому из них не давать усиливаться<sup>1</sup> — все это было традиционной политикой татар.

Именно эта политическая мысль побудила тверского летописца включить в 1305 г. в свой свод местное предание о курском баскаке Ахмате, и о сепаратных выступлениях против него князей Олега Рыльского и Святослава Линовичьского в 1283—1285 гг. Описав разорение Курского княжества, казни бояр и гибель „черных людей“, ограбленных татарами („мнози же человеци от мрза изомроша, людие облуплени суще, мужие и жены и младенци“, — Симеоновская летопись 1283), летописец прямо обвиняет князей, как главных виновников всех несчастий: „бог бо казнит человека человеком, тако сего бесерменина навел злаго за нашу неправду, мню же и князей ради, понеже живяху в которе“ (там же).

Рассказ о насилиях баскака Ахмата, хотя и подвергшийся литературной обработке, сохраняет следы своего устного оригинала, народного предания, возможно переданного в Тверь теми „паломниками-гостями“, которых Ахмат приказал отпустить на свободу после казни в их присутствии бояр и которым он велел всюду рассказывать о виденном: „вы есте гости паломници, ходите по землям, тако молвите, кто иметь держати спор с своим баскаком, такоже ему и будет“.

Собственно эпических фольклорных приемов в этом рассказе еще нет, события передаются соответственно их реальному ходу, без эпического обобщения. Но рассказ изобилует живыми бытовыми подробностями расправы татар с населением, „которые“ Олега со Святославом; прямая речь сохраняет интонации живого диалога — все это указывает на близость рассказа к описанным в нем событиям.

Тем больший интерес проявил тверской летописец к теме народного гнева против татаро-монголов, когда он дошел до событий, развернувшихся в самом Тверском княжестве. В 1327 г. в Твери были убиты Шевкал и „все порядку“ татары, вместе с ним насильничавшие над народом. Сохранились три летописные версии рассказа об этом событии и песня, где герой именуется „Щелкан Дудетьевич“.

Рассказ о восстании тверичей и убийстве Шевкала в версии Псковской I летописи (также Воскресенской и Никоновской) „сделан“ летописцем по образцу повествования о выступлении Ярослава против Святополка Окаянного (ПВЛ 1015 г.).

Эта связь с летописным рассказом XI в. побудила, видимо, псковского летописца самую победу над Шевкалом приписать помощи „молить“ „новоявленных мученик Бориса и Глеба“.

Но и в этом „сделанном“ по готовому литературному образцу рассказе есть подробности, которые могли быть известны составителю только из устного предания: после битвы Шевкал „побеже на сени“

<sup>1</sup> К. Маркс. Секретная дипломатия XVIII века. Цит. по книге: „История СССР т. I, 1947, стр. 194.

княжеского двора, Александр зажег его, и татары сгорели (Псковск. I лет.). Сочинить такие фактические подробности летописец не мог.

Совсем иначе построен рассказ об убийстве Шевкала, читающийся в Тверском сборнике, под 1327 г. Есть все основания видеть в этом рассказе вставку в летописный текст, разрезающую его между известиями о вокняжении в Твери Александра Михайловича и о смерти Петра митрополита и убийстве Шевкала.<sup>1</sup> Самый рассказ обилием фактических подробностей убеждает в близости его к событию, как и отсутствие в его тексте сообщения о мести тверичам позволяет видеть в нем устную версию, современную восстанию, предшествующую приходу карательного войска. Так же современно звучит и песня о Щелкане, не знающая еще о наказании тверичей: „тут смерть ему случилася, ни на ком не сыскалося“ (вариант Кирши Данилова).

Итак, выясняется, что по свежим следам убийства Шевкала сложились и устные рассказы, один из которых занесен в Тверской сборник, и песня, наиболее сохранно переданная в Сборнике Кирши Данилова.<sup>2</sup> Прямой связи между летописным рассказом и песней нет: они расходятся в сообщении разных подробностей, причем летописный рассказ гораздо фактичнее в описании предшествовавших восстанию событий и самой „замятни“, а песня помнит об участии в убийстве Шевкала братьев „Борисовичей“ — по убедительному предположению исследователей — тверского тысяцкого Михаила Федоровича Шетнева с братом (по имени родоначальника — Бориса Федоровича Полового, семью Шетневых чаще называли Борисовичами или Борисовыми, чем Шетневыми). Самого восстания песня не изображает.

В летописном рассказе ход событий представлен во всех подробностях. Шевкал, пообещав хану — „разорю христианства, а князи их избию, а княгини и дети к тебе приведу“, „вздвиге гонение велико над христианы, насилством и граблением и биением и поруганием“. Песня рассказывает, как в „Твери богатой“ Щелкан „не много он судьбою сидел“: он начал

и вдовы то безчестити,  
красны девицы позорити,  
надо всеми наругатися,  
над домами насмехатися.

По летописи народ идет жаловаться на Шевкала князю, а тот „тръпети им веляше“. В песне „жалобу приносили“ братьям Борисовичам, которые попытались умиловить Щелкана „честными подарками“.

Но, в отличие от песни, где сами Борисовичи убивают Щелкана за то, что он „зачванился, загординился“ и „чести не воздал“ тверским посланникам, — летопись подробно описывает повод, из-за которого

<sup>1</sup> Н. Н. Ворони. Песня о Щелкане и Тверское восстание 1327 г. Ист. журн., 1944, № 9, стр. 78.

<sup>2</sup> Сборник Кирши Данилова. Под ред. П. Н. Шеффера, СПб., 1901, стр. 13.



вспыхнуло восстание, несмотря на предостережение князя. Возможно, что самому летописцу принадлежит такая переработка устного рассказа, в итоге которой с князя оказалась снятой всякая ответственность за это восстание, но вероятно инициатива восстания против насильника Шевкала принадлежала действительно самому народу. Потому-то псковскому летописцу, пожелавшему выдвинуть роль тверского князя Александра на первое место, пришлось сочинять свой рассказ по образцу столкновения Ярослава со Святополком. Фактов, подтверждавших, что во главе восстания стал сам князь, в его распоряжении не оказалось.

Песня обобщила ход событий и не упомянула даже о том, что летопись подробно описала, конечно, со слов самих тверичей, участников восстания. Именно эта часть летописного рассказа особенно насыщена реальными подробностями, выдумать которые летописец не мог: диакон Дюдко „в полуутра как торг снимается“, „поведе кобилу младу и зело тучну пойти на Волзе воды“; татары отнимают лошадь, Дюдко взывает: „о мужи тверстии, не выдайте“. Татары первые начали „сечи“; тогда ударили в колокола, „сташа вечием“, и началась „замятня“ — татар избивали, „где кого застронив“. Убили всех — „не оставиша и вестоноши“, и только из-за города „пастуси коневии“ помчались с вестями в Москву и в Орду.

Основанный на устном предании, рассказ на этом и кончается, а под следующим годом, в обычной летописной манере, кратко описана „Федорчукова рать“ — разорение Твери за убийство Шевкала и татар. Ни одной живой подробности в этом сообщении нет.

Несомненно, к XV в. относится в летописном рассказе 1327 г. лишь его начало — татары натравливают хана на князя тверского Александра, а Шевкал вызывается погубить Тверь. Самый стиль изложения здесь иной, чем в дальнейшем — вся обычная дидактика использована летописцем: „за умножение грех ради наших, богу попустившу диаволу възложить злаа в сердце безбожным татаром глаголати беззаконному царю...“; Шевкал — „беззаконный, проклятый и всему злу начальник, разоритель христианский, отверзе уста своа скверная, начат глаголати, диаволом учим...“.

Весь этот начальный эпизод напоминает близко начало летописной повести о Мамаевщине: „И разгорде окаанный Мамай и мя ся яко царя и сътворив злый съвет с князи своими темными, река: «Пойдем на Русскую землю и попленим ю яко же и при Батые было, хрестьянство погубим, а церкви их огнем попалим»“. Все эпитеты Шевкала и татар — типичны для повестей о татарщине XV в.

Таким образом, за счет устного источника можно отнести в рассказе Тверского сборника лишь ту часть, которая начинается с описания насилий Шевкала над тверичами.

Версия Тверского летописца исключает все, основанное на устном предании, и, в отличие от Тверского сборника, выдвигает роль князя

Александра, который, узнав о насилиях Шевкала, предсказал его гибель, как возмездие: „да воспримет христианский губитель мзду делатель своих, и наполнится мера ему беззакония его, и сеть, юже простре, да впадется в ню. Яко же збысться ему, и восприят нечестие пути своего, огнем бо попалиша кости церковного борителя“ — ср. в версии Псковской I летописи: „а Шевкал побеже на сени, и Александр заже отца своего двор и Шевкал с дружиною своею згорев пропаде“. Очевидно, составителю Тверского летописца была известна эта версия предания о смерти Шевкала, так как в Тверском сборнике лишь глухо сказано: „самого Шевкала убиша и всех порядку“, но о пожаре на княжеском дворе не упоминается.

Вместе с тем и активная роль Александра в событиях сближает именно эти версии, хотя начало рассказа Тверского летописца явно связано с редакцией Тверского сборника, в ее не фольклорной части.

Обе тверские редакции, несомненно, относятся к XV в. Но в Тверском сборнике сохранился современный событию рассказ о поводе, вызвавшем восстание, и о народной „замятне“, а в Тверском летописце есть след другого устного предания, которое помнило, что князь Александр зажег „отца своего двор“, и Шевкал с дружиной не был убит, а сгорел там. Третья версия предания, согласно которой не князь, а „Борисовичи“ возглавили восстание, легла в основу песни о Щелкане.

Из трех литературных редакций рассказа об убийстве Шевкала народная оценка этого события лучше всего передана в версии Тверского сборника, единственной, где народное возмущение насилиями захватчиков описано без всякого налета церковной дидактики.

Таким образом и в XIII—XIV вв. передовая историческая литература не отрывалась от народного творчества то сохраняя с ним лишь идейную близость, то прибегая к нему как к народной памяти о событиях или своеобразному способу их художественного выражения. Отбросив мистику религиозно-дидактических истолкований бедствий татаро-монгольского нашествия, эта литература подхватила и довела до высокого совершенства выражение героики народной поэзии, образы мужественных защитников родины от нового врага. В эту суровую эпоху и в лучших литературных изображениях борьбы с татаро-монголами возобладали эпическая гиперболизация воинских картин, создались богатырские образы русских дружинников. Пафос боевой героики в литературе и в народном эпосе имел общую цель — победить овладевшее частью населения отчаяние, пробудить силы сопротивления и укрепить надежду на успешный исход борьбы с захватчиками.

В последовавшие затем мрачные века татаро-монгольского ига народное предание обогащало литературу реалистическими рассказами о народных восстаниях против насилий татарских „баскаков“, о мужественной защите городов против нападений татарских отрядов, о возмущении против князей, в междоусобной борьбе опиравшихся и на

татарскую помощь. По отсутствию церковной дидактики, по непримиримой ненависти к врагам и внешним и классовым можно узнать авторов, следовавших народной памяти об этих событиях. Но в манере передачи этих рассказов все меньше приемов эпического стиля, все более отчетливо видно стремление к простому реалистическому воспроизведению исторических фактов и отношений.

## 6

Н. Г. Чернышевский, в своих заметках по русской истории, всегда выдвигавший роль народа как главной действующей силы в истории государства, справедливо утверждал, что русский народ был основным носителем идеи национального единства: „Сознание национального единства всегда имело решительный перевес над провинциальными стремлениями“,<sup>1</sup> и, в период феодальной раздробленности, оно содействовало борьбе с ней.

Русский народный эпос является свидетелем высокого развития этой идеи национального единства. В нем гораздо раньше чем в литературе возобладали общерусская идея над феодальной обособленностью. Постигшее Русскую землю бедствие — татаро-монгольское иго, как результат двух опустошительных нашествий полчищ Чингиз-хана и Батыя, — особенно обострило это чувство единой Русской земли. И тот, на кого падала главная тяжесть их нашествий — трудовой народ в своем эпическом творчестве отразил этот рост „сознания национального единства“. Можно думать, что именно в первые времена тяжелого ига в героическом эпосе происходило особенно быстро объединение местных богатырей вокруг Киева как незабытого еще центра независимой Русской земли.

Былина о „Камском побоище“, где гибнут за общую родину все богатыри, съехавшиеся с разных концов Русской земли, вряд ли могла быть создана после Куликовской победы, сделавшей эту тему гибели от неодолимого врага уже устаревшей: на Куликовом поле еще более укрепилась вера в возможность освобождения от тягостного ига. Киев, как объединяющий центр, появился в эпосе, вероятно, также до этой победы, одержанной под главенством Москвы. Отсюда возникает предположение, что идея общерусского единства, которая в литературе

<sup>1</sup> Н. Г. Чернышевский. [Рецензия] Б. Чичерин. Областные учреждения России в XVII веке. М., 1856 (Современник, 1856, № 6. Полн. собр. соч., т. 3, М., 1947, стр. 570). — Н. Сладкевич в статье „Исторические взгляды Чернышевского и Добролюбова“ (Вопросы истории, 1949, № 2, стр. 36) отмечает, что Чернышевский еще не дооценивал роли „великокняжеской власти“ в деле создания централизованного феодального государства, что „ему были неясны экономические и политические процессы, на базе которых выросло «сознание национального единства» и которые привели к созданию централизованного феодального государства. Но это не умаляет огромного значения концепции Чернышевского, правильно выдвинувшей на первый план роль народных масс в деле ликвидации феодальной раздробленности“.

начинает занимать особенно заметное место только с конца XIV в., в устном эпосе, отражая действительные настроения трудового народа, оформилась значительно раньше.

Своеобразие родственного устному эпосу способа отражения исторической действительности XIV—XV вв., в отличие от проникнутого религиозной историософией ее истолкования, может быть прослежено на различных литературных передачах темы Куликовской победы.

Огромное историческое значение одержанной над полчищами Мама в 1380 г. победы надолго сделало тему Куликовской битвы актуальной в русской литературе. Однако качество возникших на эту тему литературных произведений ни в историческом, ни в художественном отношении не равноценно.

Есть основание думать, что немедленно после самого события о нем сложились и официальные донесения, закрепившие основные факты (движение войск к Куликову полю, их предводители, расположение на месте битвы, ход сражения, имена убитых и т. д.), и народные предания, в которых факты эпически обрабатывались, украшались поэтическими подробностями, но сохранялась народная оценка и участников битвы и значения самой победы. На этой основе слагались затем с конца XIV в. литературные повести, дошедшие до нас в своем большинстве уже в позднейших переделках. В так называемой „летописной“ повести „О Донском бою“ исторический рассказ был доработан автором в направлении религиозного осмысления всех событий. Гиперболизм в его изложении — агиографического характера, нравов учения подкрепляются цитатами „от писания“, и в этом потоке ссылок на небесную помощь теряется настоящая роль русского войска в величайшей победе, одержанной на Куликовом поле.

В духе религиозной историософии дорабатывалась в течение XV и XVI вв. и та повесть, которая легла в основу сохранившихся редакций Сказания о Мамаевом побоище. Через близкую по времени к самому событию повесть в эти редакции вошло немало и таких подробностей исторических фактов, имен, которые незнакомы даже имеющимся документам, однако весь этот богатый и исторически верный материал авторы подали читателю в определенном освещении: „как возвыси господь род христианский, а поганых уничижи и посрами их суровство... как сотвори господь волю боящихся его“. „Попущением божиим, а научением диаволиим“ пошел Мамай разорять „православную веру христианскую“, „но того не разуме нечестивый“, что „не до конца прогневаецца господь, ни в веки враждует“, как это было, когда он допустил Батю разорить Русскую землю. Мамай задумал окончательно покорить Русь и „тихо и безмятежно“ зажить в ее „красных“ городах, „а не ведый, бог дает власть, ему же хочет“. Мамай забыл, что „господь гордым противится, а смиренным дает благодать“. Таким „смиренным“ изображается Дмитрий Московский. Каждый шаг его на пути к полю битвы отмечен усердной молитвой,

его провожают благословения митрополита Киприана и игумена Сергия; ему предсказана „прозорливым старцем“ Сергием победа; Сергий дает ему своих „оружниц“ — иноков Пересвета и Ослябю, вооружая их „в тленных место — нетленным оружием крестом христовым на скимах“. „Великое божие милосердие“ приводит на помощь Дмитрию братьев Ольгердовичей. Чудеса и видения предсказывают победу.

„Чудесного“ — церковного так много в Сказании, что даже перед битвой, когда татары смотрели на приближающееся русское войско, „божьем промыслом много видеша людей, и поведаша царю своему, яко четверицею множае их“, <sup>1</sup> хотя известно, что московское войско было почти вдвое малочисленнее, чем рать Мамаю. <sup>2</sup> Верный своему замыслу, автор заставляет князя Владимира Андреевича приписать победу помощи всех, кому молился перед походом Дмитрий: „по милости божи и пречистой его матери и молитвами сродник наших Бориса и Глеба и Петра московского святителя и игумена Сергея и всех святых молитвами врази наши побеждени суть, а мы спасохомся“.

Так последовательно проведенная точка зрения автора, напоминавшего постоянно о том, что всеми событиями управляют божественные силы, — не могла, конечно, способствовать сближению Сказания с устным эпосом и вообще с фольклором.

Но все же каждая из позднейших редакций по-своему, больше или меньше, вовлекает в оцерковленное изложение устный материал, то в виде предания об исторических фактах (например о посольстве Захарии Тютшева) или фантастических подробностях (предание о приметах, предсказавших победу), то в форме эпически обработанных деталей повествования (поединок Пересвета с печенежином, описание боя). Не будучи в состоянии изменить общий характер всего „Сказания“, эти эпические эпизоды отвлекали внимание читателя от нравоучительной тенденции повествования и, надо думать, немало способствовали популярности в читательской среде именно этой повести о Куликовской победе.

Но как ни обильно вошла религиозная дидактика в композицию всех версий Сказания о Мамаевом побоище, однако главные герои Куликовской битвы — русские воины — не затронуты той религиозной чувствительностью, какой наделен в Сказании предводитель всего русского войска — великий князь московский. В эпитетах и сравнениях воины определяются со стороны их воинских доблестей, но не христианских добродетелей — они „аки соколи“, „яко златозарнии орли“, „уношенные соколи“, их сердца „аки лвом“, „русские удалци“, „удалые молодцы“, „люди доблии, удалые“, „русские сановитые богатыри“, „нарочиты богатыри“, „нарочитые и крепкие, ведомые, удалые мужи“,

<sup>1</sup> С. К. Шамбинаго, ук. соч., стр. 35.

<sup>2</sup> Там же, стр. 23.

„удалые витязи“, „храбрые витязи и велемошнные богатыри“, „полци силнии, великие, храбрии“, „войско великое крепкое“, „рать силная, великая“ и т. п.

Именно такими характеристиками русских воинов особенно поддерживалась связь книжного Сказания с устными преданиями о Куликовской битве и с героическим эпосом вообще. И как ни сильна в Сказании в целом его религиозно-назидательная тенденция, героический характер самого события, изображенного в нем, не мог не направить внимания читателей-соавторов и к народной оценке его.

Таким образом, изучение состава сохранившихся редакций Сказания о Мамаевом побоище показывает, что лежащий в их основе древнейший текст обрабатывался в двух направлениях. Одни авторы-редакторы, равняясь по возобладавшему в официозном московском историческом стиле XV—XVI вв. оцерковленному стилю,<sup>1</sup> усиливали в повествовании религиозную риторiku (молитвы, цитаты „от писания“, чудеса, нравоучения), другие дополняли рассказ устными преданиями об отдельных моментах, связанных с Куликовской битвой, или украшали изложение отстоявшимися эпизодами устного героического эпоса.

Насколько религиозная историософия преобладает в обеих выше охарактеризованных повестях о Куликовской битве, настолько в стороне она осталась у „Софония старца рязанца“ — автора Задонщины или Слова о великом князе Дмитрее Ивановиче и о брате его князе Владимире Андреевиче. Признаем ли мы гипотезу А. А. Шахматова о том, что Задонщине предшествовало Слово о Мамаевом побоище, или сохраним полностью авторство за Софонием рязанцем, во всяком случае очевидно, что повесть эта сложилась вскоре после Куликовской битвы. Предположение М. Н. Тихомирова, датирующего повесть временем до 1393 г., несомненно заслуживает внимания,<sup>2</sup> как и отнесение им „Задонщины“ к московской исторической литературе.

Если даже при восстановлении, по достаточно искаженным перепиской текстам, первоначального вида Задонщины не исключать из нее читающихся в некоторых списках упоминаний о том, что, вступив „в златое стремя“, великий князь „помолися богу и пресвятии богородици“, и что в эту минуту „Борис и Глеб“ воздали „молитву за сродники“, то этим ограничится все „религиозное“ в основной части повести. В заключительном рассказе о бегстве Мамаю в Кафу есть еще неясного происхождения нравоучительная ссылка на то, что поход

<sup>1</sup> Об этой тенденции к оцерковливанию исторического повествования, обнаруживаемой в московской литературе XV в., см.: М. Н. Тихомиров. Древняя Москва. М., 1947, стр. 209.

<sup>2</sup> Древняя Москва, стр. 202: эта датировка основывается на упоминании в Задонщине Тырнова — столицы болгарского царства, завоеванного турками в 1393 г.

Батыя был наказанием божим русским: „а казнил бог Русскую землю за съгрешение“.

Задонщина отказалась от религиозного осмысления одержанной русскими на Куликовом поле победы. Ее единственный герой — русское войско, храбростью которого и был разбит Мамай („сынове храбры“, „удалци русские“, „люди удалые“, „дружина храбрая“, „полки храбрые, сильные, великие“, „рать великая, сильная“, „воеводы крепцы, храбрые“). В эпически обобщенном плане Софоний рязанец противопоставляет „жалость земли Руские“, наступившую после двух поражений — на Каяле (от половцев) и на Калке (от татар), „веселию и буйству“, которое принесла Куликовская победа.

„Русские сынове“, как чаще всего именуется автор сражавшихся на Куликовом поле воинов, — это для него дети единой „Руси великой“, „Русской земли“, которая, под предводительством „всех князей русских“ съехалась „к великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его князю Владимиру Андреевичу“. Настойчиво напоминает им автор и от себя и устами московского князя, что все они „гнездо великого князя Владимира киевского“. И именно эта идеально объединенная „Русь великая“ „одолеша Мамай на поле Куликове на речке Непрядве“. Для автора так важна эта мысль о наступившем объединении разрозненных земель, что он даже не считает нужным вспомнить об „отступнике“ Олеге Рязанском, которого всячески клеймили и Летописная повесть и Сказание.

Горячий патриот, автор Задонщины глубоко освоил передовую идеологию своего времени, звавшую к образованию единого централизованного государства, возглавляемого Москвой. Эта идеология, с одной стороны, сближала его с устным народным эпосом, всегда мыслившим Русскую землю как единую родину, с другой стороны, она напомнила ему наиболее художественно и ярко выраженный в прошлом призыв к единению Руси — Слово о полку Игореве. Так создалась своеобразная по своему идейно-художественному выражению новая обработка темы Куликовской победы.

Народность замысла постоянно сближала автора Задонщины с устным эпосом и, повидимому, не только в самом способе художественного выражения. Есть эпизоды в Задонщине, наводящие на предположение, что в основе их лежат народные предания или песни.

Первый из этих эпизодов, даже в литературной передаче сохранивший песенную ритмичность — это короткое воспоминание о новгородском вече, обсуждавшем вопрос о походе вместе с московским князем против Мамай:

Звонят колоколы вечныя  
в великом Новгороде,  
стоят мужи новгородцы  
у святой Софеи арькучи:  
Уже нам, братие, на пособе  
великому князю Дмитрию Ивановичу не поснесть.

Точных документальных сведений об участии целого новгородского войска в Куликовской битве не сохранилось. Однако поздние списки Задонщины упоминают о выезде из Новгорода 7000 „кованья рати“ в Москву, а в числе убитых на Куликовом поле воевод, вслед за Сказанием о Мамаевом побоище, называют „30 новгородских посадников“. Среди убитых там вспоминает новгородцев и синодик церкви Бориса и Глеба в Новгороде.

Рассказ „Задонщины“ о сборах новгородцев в поход нельзя не связать с несомненно песенной вставкой, занесенной в один из поздних списков третьей редакции Сказания о Мамаевом побоище. Здесь почти дословно повторяется описание новгородского веча, как это описание передано Софонием, но есть и продолжение в том же песенном ритме, рассказывающее о том, как новгородцы действительно отправились в поход.

К народному преданию Софоний обратился еще раз в заключительном эпизоде, повествующем о бегстве Мамаю в Кафу. Известно, что Мамай бежал туда не сразу после Куликовской битвы, а после поражения, нанесенного ему Тохтамышем; здесь, в Кафе, Мамай и был убит „фрягами“ — генуэзцами. Об убийстве Софоний не упоминает, фряги, в его изложении, лишь издеваются над разбитым Мамаем и гонят его прочь. Таким образом, сражение с Тохтамышем предполагается случившимся уже после бегства в Кафу, а о смерти Мамаю автор не упоминает. Совсем иначе о конце Мамаю рассказывали и Летописная повесть о Куликовской битве, и Сказание о Мамаевом побоище. Обе повести не отступали здесь от исторически засвидетельствованных фактов.

В Задонщине самый строй рассказа, образ битвы-пира, на котором держится насмешливая речь фрягов, все это говорит за то, что Софоний ввел какое-то устное предание о Мамае. В этом предании трагическая картина предательского убийства Мамаю заменена насмешкой над разбитым врагом. Софоний связал это предание со своим рассказом переходной фразой — отголоском „Слова о полку Игореве“: Мамай, „отскочи серым волком от своая дружины“ (ср. „Всеслав... скочи волкомь... Игорь... скочи с него бусым волком“). Эпитет „серым“ сближает эти образы князей с былинным Волхом Всеславьевичем, который умел обертываться именно „серым волком“.

В этом рассказе о бегстве Мамаю есть какая-то неувязка между первой и второй его частями: сначала идут укоризненные сравнения с Батыем и выделяющееся из общего тона Задонщины нравоучение — „А казнил бог Русскую землю за съгрешение“, — а затем начинается насмешливая речь фрягов над разбитым Мамаем, вся сотканная из фольклорных образов. „Нешто тобя князи русские горазно подчивали, ни князей с тобой нет, ни воевод? Нешто гораздо упилися на поле Куликове, на траве ковыли?“.



Восстановить первоначальный вид этого рассказа по сохранившимся спискам не удастся, в нем остаются неясности. Но фольклорное зерно этого легендарного предания о встрече Мамаю с фрягами все же очевидно, даже и в искаженной переписчиками форме. Софоний предпочел в данном случае народное предание исторически точному рассказу о гибели Мамаю.

Оставляя в стороне вопрос в целом об отношении Задонщины к „Слову о полку Игореве“, обусловленном прежде всего родством их идеологии, вскрыем лишь связь Задонщины с теми эпизодами „Слова“, которые напоминали автору устную поэзию. Отбирая изобразительные средства для своего поэтического языка из „Слова о полку Игореве“, автор, очевидно, с особым вниманием останавливался именно на устнопоэтических его элементах, придавая им, однако, форму, более привычную для XIV в.

Так, из богатого метафорически-символического языка „Слова“ в Задонщину вошли те образы, которые опирались или прямо на фольклорную поэтику, или, вместе с ней, на выразительность живого языка. Поэтому воины и князья, враги и картины боя рисуются в метафорах и символах „Слова“, параллели к которым обычны в поэтическом языке преимущественно былинном, как он представляется в записях, начиная с XVII в. Князья и воины в Задонщине, как в „Слове“, — соколы, солнца, раненые князья — туры, воины убиты — солнце померкло, вражеские войска — тучи, черные вороны, поле битвы — судное место и т. д. Из современной ему эпической поэзии автор Задонщины добавляет и родственные образы: князья — кречеты, ястребы и орлы, а не только соколы, как в „Слове“; враги — гуси и лебеди; шум наступающего войска — гром, битва — пир, на котором пьют „медвяную чашу“ и проч.

Фольклорные параллели к воинской фразеологии Задонщины засвидетельствованы героическим эпосом уже в старших записях и сохраняются до новейших вариантов:

Как есен сокол вон вылетывал,  
Как бы белый кречет вон выпархивал.

(Кирша Д а н и л о в, 9, 84, 102).

Как есен сокол напушаетца  
на синем море на гуси и лебеди,  
во чистом полс напушаетца  
Молоды Михайла Казаренин (на татар).

(Кирша Д а н и л о в, 87).

Не ясен сокол да напушает на гусей, на лебедей,  
. . . напушает то богатырь святорусския  
а на тую ли на силу на татарскую

(А. Г и л ь ф е р д и н г, т. II, 1938, 27).

Кабы грозная туча подымалась,  
 Что на наше веть царство наплывала.

(Кирша Д а н и л о в, 119).

Не шум шумит, не гром гремит  
 Молодой Турчин полон делит.  
 Не стук стучит во чистом поле,  
 Не гром гремит во раздольице,  
 Едет старый Илья Муромец.

(А. С м и р н о в. „Слово о полку Игореве“,  
 вып. 2. Воронеж, 1879, 164).

Задонщина, вслед за „Словом“, но гораздо чаще, пользуется отрицательным сравнением, притом не только в двучленной его форме, какая известна по фольклорным записям с XVII в., но и в трехчленной, лишь один раз встречающейся в „Слове“.

Несомненное родство повести Софония с фольклором привело к тому, что переписчики дополняли его рассказ устно-поэтической фразеологией. Уже в старшем списке XV в. (Кирилло-Белозерском), особенно свободно обращающемся с авторским текстом, „борзы конь“ Пересвета заменяется „вещим сивцом“, „трава ковыль“ — „белый ковыль“, „славны“, „силны град Москва“ — „красны град Москва“, „дышущее море“ (переписчик-северянин употребил привычное для него название океана, вспомнив его по связи с другими собственными именами из „Слова о погибели Русской земли“).

Нельзя не обратить внимания на то, что автор Задонщины, в отличие от своих современников, разрабатывавших ту же тему Куликовской победы, изъясил из своего повествования всякий намек на „чудесное“. У него нет ни знамений и видений, ни сказочной фантастики. Даже эпический гиперболизм едва различим в его изложении и то лишь как отголосок соответствующих эпизодов „Слова“, в собственном же его художественном языке преувеличение действительности отсутствует. Так сказались нарождавшиеся новые требования к языку исторического рассказа: он становится реалистичнее и дальше отходит от старого эпоса, как в устной традиции обособляется от эпической поэтики историческая песня. Таким образом героика народного эпоса с новой силой проявляется в двух повестях, художественно обработавших тему Куликовской победы, — в Задонщине и в Сказании о Мамаевом побоище. В первой идейное родство с народным эпосом выражено ярче и вытеснило совершенно официальную историософию; во второй — изложение идет в двух планах, однако свежесть народных преданий, включенных автором в свое повествование, снижает патетику религиозной чувствительности и ослабляет попытки автора внушить читателю мысль о том, что не мужеством объединившейся на Куликовом поле „Руси великой“, а небесной помощью добыта победа, небывалая в истории борьбы с татаро-монголами.

Устный и литературный эпос XI—XIV вв., в своих идейно наиболее значительных образцах, одинаково проникнут сознанием единства Русской земли, понимаемым, впрочем, на разных этапах этого периода неодинаково; его основные темы — всегда имеют общерусский интерес. Поэтому и слава Родины в годы ее расцвета, и тревога о ее судьбе в века феодальной раздробленности и военной опасности, и вера в народные силы, и радость первой большой победы над захватчиками — все эти первостепенного значения темы передовой исторической литературы XI—XIV вв. и народного эпоса закономерно поддерживали родство передовых писателей с выразителями народной оценки событий в устном героическом эпосе. В способе художественного выражения ими этих тем родство сохранялось даже тогда, когда стилистический в узком смысле этого слова облик литературного и устного произведений был различен. Книжная фразеология не стирала глубокого внутреннего родства литературы и фольклора, если они сближались в оценке исторических фактов и отношений.

Для способа развития исторической темы в литературе раннего средневековья — до XIV в. включительно является весьма характерным наличие общих черт в самом художественном методе лучших писателей и создателей народного эпоса.

Народность лучших исторических повестей XII—XIV вв. проявляется, как и в „Слове о полку Игореве“, прежде всего в самом способе отношения к действительности, в задачах ее литературного отражения, в отказе от идеалистической „истории философии“ феодального христианства.

Активная роль человека в ходе исторических событий выдвинута во всех этих повестях; реальные исторические отношения, а не вмешательство потусторонних сил, определяют развитие действия; мужественная защита Родины своими собственными силами, а не воззвания к „небесной“ помощи решают исход столкновений с противником. Так в пределах одной по существу темы — борьбы за независимость Русской земли — каждый из авторов по-своему, в соответствии с условиями, в каких протекала эта борьба, — изображает и самые столкновения с врагом, и дает объяснение неудач или успехов русского оружия.

Героизация участников изображаемых военных столкновений идет в направлении, издавна принятом в народном героическом эпосе. Гиперболизация активных качеств — храбрости, силы, сосредоточение всего внимания на представлении беззаветной преданности Родине — вот основные приемы построения образов героев. Как и в народном эпосе, в данных повестях отсутствует налет религиозной чувствительности, такой характерный для многих исторических повестей древней Руси, в частности и в XIII—XIV вв.

Народность идеи влечет за собой и свободное проникновение в книжный рассказ художественных средств народного эпоса. Так

литературное повествование получает фольклорную в узком смысле слова окраску.

Таким образом, именно ведущая тема светской литературы XI—XIV вв. — тема историческая, объединяющая все передовое, что было создано писателями раннего русского средневековья, — обусловила идейно-художественную связь этой литературы с устным эпосом по преимуществу. Подлинная народность этой литературы является закономерной причиной и отказа ее от религиозной историософии или, по крайней мере, ограниченного применения этой историософии в истолковании и оценке смысла событий, и вместе с тем наличия в литературном художественном методе своеобразных черт устной поэтики.

---